

The background is a dark, atmospheric illustration of a forest. Tall, thin trees with bare branches frame a narrow path or stream that leads into the distance. Light filters through the canopy, creating a misty, ethereal glow. In the foreground, a stream flows over rocks, with a small fire burning on the right bank. Several figures in dark robes are scattered throughout the scene, some standing on rocks and others further down the path, adding a sense of mystery and journey.

Александр Баженов

**Бажаник. Семь
сфер. Книга XXI.
Песнь Восьмой
Сферы**

Александр Баженов

**Бажаник. Семь сфер. Книга
XXI. Песнь Восьмой Сферы**

«Автор»

2026

Баженов А. Н.

Бажаник. Семь сфер. Книга XXI. Песнь Восьмой Сферы /
А. Н. Баженов — «Автор», 2026

Артём, Алиса, Глеб, Мира, Илья, Обсидиан, Кира и все, кого они любили, прошли через девять пещер — девять смертей и девять жизней. Они спустились в горло Камня, где спал Офион. Они прошли через реку Невыплаканных Слёз, где плакала Лорелея. Они блуждали в лабиринте из титана, где Сфинкс задавал загадки. Они слушали лес, который помнил, где Виридиан ненавидела и любила. Они тонули в океане, который крал мысли, где Лорелея ждала. Они создавали миры в мастерской, где Сфинкс-ребёнок боялся взрослеть. Они умирали и воскресали в комнате, где смерть любила. Они стояли на пороге врат, которые не открывались, и входили в двери, которые вели домой. И в конце — в самом конце — они нашли то, что искали. Не Звук. Не Силенциум. Не Марию. Они нашли — себя. Это история о девяти смертях и девяти жизнях, о тишине, которая звучит громче крика, и о свете, который умножается, когда им делятся.

© Баженов А. Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Чёрный снег над яблоневым садом.	5
Глава 2. Пещера Эмоций: Там, где плачут камни.	5
Глава 3. Пещера Воли: Лабиринт из титана.	5
Глава 4. Пещера Интуиции: Лес, который помнит.	5
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Бажаник. Семь сфер. Книга XXI. Песнь Восьмой Сферы

Глава 1. Чёрный снег над яблоневым садом.

Глава 2. Пещера Эмоций: Там, где плачут камни.

Глава 3. Пещера Воли: Лабиринт из титана.

Глава 4. Пещера Интуиции: Лес, который помнит.

Глава 5. Пещера Телепатии: Голоса в голове.

Глава 6. Пещера Воображения: Там, где рождаются миры.

Глава 7. Пещера Смерти: Там, где заканчивается всё.

Глава 8. Пещера Всего: Там, где заканчивается всё.

Глава 9. Там, где начинается всё.

Аннотация

Артём, Алиса, Глеб, Мира, Илья, Обсидиан, Кира и все, кого они любили, прошли через девять пещер — девять смертей и девять жизней. Они спустились в горло Камня, где спал Офион. Они прошли через реку Невыплаканных Слёз, где плакала Лорелея. Они блуждали в лабиринте из титана, где Сфинкс задавал загадки. Они слушали лес, который помнил, где Виридиан ненавидела и любила. Они тонули в океане, который крал мысли, где Лорелея ждала. Они создавали миры в мастерской, где Сфинкс-ребёнок боялся взрослеть. Они умирали и воскресали в комнате, где смерть любила. Они стояли на пороге врат, которые не открывались, и входили в двери, которые вели домой. И в конце — в самом конце — они нашли то, что искали. Не Звук. Не Силенциум. Не Марию. Они нашли — себя. Это история о девяти смертях и девяти жизнях, о тишине, которая звучит громче крика, и о свете, который умножается, когда им делятся.

Глава 1. Чёрный снег над яблоневым садом

Звон, который никто не слышал

В то утро, когда небо над Ольховкой стало цветом старой, свернувшейся крови, а яблони, ещё вчера полные поздних, наливных плодов, начали ронять их с глухим, влажным стуком, похожим на удары сердца, остановившегося в груди великана, Мира проснулась от того, что её собственная кровь запела — тонко, тревожно, словно где-то в глубине земли лопнула струна, натянутая между корнями старого дуба и двадцать третьим кольцом, висевшим над садом, как застывшая радуга, потерявшая часть своих красок.

Она лежала в своей маленькой комнате под самой крышей, где пахло сушёными травами, воском и яблоками, и слушала, как по стеклу, оставляя грязные, размытые следы, ползёт что-то тяжёлое и липкое, не похожее ни на дождь, ни на град. За окном шёл снег — чёрный, хлопьями, похожими на обгоревшую бумагу, вырванную из книги, которую никто не должен был

читать. Каждая снежинка, коснувшись подоконника, таяла мгновенно, оставляя после себя запах ржавчины, озона и забытых имён, и этот запах был настолько густым, что Мира почувствовала, как её горло сжимается, а по спине прокатывается волна ледяного ужаса, не имеющего причины.

Она откинула тяжёлое шерстяное одеяло, сшитое из лоскутов всех семи цветов, и босиком, по холодным половицам, которые скрипели под её шагами, как старые кости, подошла к окну. За стеклом, покрытым изнутри тонкой сетью инея, мир неузнаваемо изменился: яблоневый сад, ещё вчера золотой и багряный, стоял чёрным, будто его облили дёгтем, а над старым дубом, чьи ветви, казалось, держали само небо, висели двадцать три кольца — двадцать три светящихся обруча, сотканных из чистого света, — и они мигали, как свечи на ветру, грозя погаснуть одно за другим.

Мира, семнадцатилетняя дочь Артёма и Алисы, с волосами цвета тёмного мёда, заплетёнными в тугую косу, перевитую серебряной нитью, с глазами, в которых смешались серый янтарь матери и глубокая, как омут, синева отца, стояла босиком на холодной, покрытой чёрной изморосью траве, и её длинная льняная рубаха, расшитая семью разноцветными нитями, хлопала на ветру, как парус, а на груди, на тонкой серебряной цепочке, покачивался маленький камертон — подарок Виктора, бывшего хирурга, а ныне смиренного санитаря хосписа, — и этот камертон вдруг начал звенеть, издавая тонкий, почти неслышимый звук, от которого у Миры заныли зубы и задрожали пальцы.

На крыльцо, вытирая руки о полотенце, вышел Артём — всё ещё стройный, но с серебром на висках и сетью тонких морщин у глаз, в которых застыла та особая, тяжёлая усталость человека, который слишком много раз держал чужие души на своих ладонях, — и его ладони, привыкшие к чужим ранам, дрожали, когда он смотрел на небо, а рядом, кутаясь в платок, где каждый цвет соответствовал одной из семи сфер, стояла Алиса, с растрёпанными волосами, в которых уже много лет назад появилась белая прядь, и её серые глаза с янтарными крапинками, отражая гибнущие кольца, наполнялись слезами, которые она не позволяла себе пролить.

Обсидиан, высокий, с кожей цвета антрацита, с глазами, похожими на расплавленное золото, стоял у дуба, и его плащ, сотканный из теней, стелился по земле, не касаясь травы, а рядом с ним, держась за руки, замерли трое первых учеников Миры — скептик Илья, чьи очки запотели от чёрного снега, эмпат Кира, чьё круглое лицо побледнело до цвета мела, и воин Глеб, чьи широкие плечи, казалось, сгорбились под невидимой тяжестью, — и все они смотрели на двадцать третье кольцо, которое, в отличие от остальных, не мигало, а медленно, изнутри, покрывалось сетью чёрных трещин, как покрывается трещинами лёд, в который ударили чем-то тяжёлым и древним.

Мира сделала шаг вперёд, и трава под её босыми ногами захрустела, как битое стекло, а чёрный снег, коснувшись её кожи, не растаял, а впитался, оставив на щиколотках тонкие, чёрные, как чернила, линии, похожие на вены. Она подняла руку, чтобы коснуться камертона, и в этот момент двадцать третье кольцо — то самое, всецветное, которое загорелось над дубом год назад, после победы над Астенисом и восстановления Колеса, — лопнуло беззвучно, разлетевшись на тысячи осколков, которые не упали вниз, а зависли в воздухе, дрожа и переливаясь всеми цветами радуги, а затем начали медленно, с противным скрежетом, втягиваться в чёрную трещину, разверзшуюся в стволе старого дуба.

Из трещины, из глубины, из-под корней, где никогда не было ни света, ни тепла, поднялся голос — женский, низкий, с хрипотцой, похожий на звук разрываемой ткани, — и этот голос произнёс слова, от которых у всех стоящих в саду кровь застыла в жилах: «Мира, ты забыла меня. Я — та, кто была до тебя. Я — первая. Я — Ноль». И в тот же миг чёрный снег повалил ещё гуще, закрывая небо, а из трещины, разрывая кору, как мокрую бумагу, начала выходить фигура — девушка, на первый взгляд точная копия Миры, но с волосами белыми, как кость, с глазами, чёрными, как бездна между звёздами, в платье из чёрного льна, расшитом семью

нитьями, но каждая нить была чёрной, и в руке она держала яблоко — идеально гладкое, чёрное, с крошечной, светящейся красной точкой в самой сердцевине, — и это яблоко пульсировало, как живое сердце, и от него исходил запах, который Мира уже чувствовала — запах ржавчины, озона и забытых имён.

Лес, который слушает

Ноль стояла на чёрном снегу, и её белые, как кость, волосы шевелились без ветра, словно под водой, а чёрное яблоко в её руке пульсировало в такт с чем-то глубоко под землёй, и от этого пульса дрожали стволы яблонь, и с них, одна за другой, срывались чёрные, сморщенные снежинки, похожие на обгоревшие лепестки. Она улыбнулась — медленно, страшно, одними губами, — и в этой улыбке не было ни злобы, ни торжества, только древняя, бесконечная усталость существа, которое помнит слишком много и не может забыть ни одного имени, ни одного лица, ни одной смерти. «Ты забыла меня, — повторила она, и её голос, низкий, с хрипотцой, прозвучал так, будто говорила сама земля, разрываемая корнями, — но я помню тебя. Я помню тебя ещё до того, как ты родилась. Я помню тебя до того, как ты стала Мирой. Я помню тебя до того, как ты стала собой. И теперь я пришла вернуть то, что ты у меня украла».

Мира хотела ответить, но слова застряли в горле, как рыбы кости, и она почувствовала, что камертон на её груди раскалился, обжигая кожу сквозь тонкую льняную ткань, а чёрные линии на щиколотках поползли выше, оплетая икры, как живые чернильные змеи. Артём сделал шаг вперёд, и его ладони, привыкшие к чужим ранам и чужой боли, вспыхнули жёлтым светом Манипуры, но свет этот был тусклым, дрожащим, словно свеча в сыром подвале, и Мира впервые увидела, как отец боится — не за себя, а за неё. Алиса схватила мужа за руку, и её серые глаза с янтарными крапинками расширились, потому что она узнала этот запах — ржавчина, озон и забытые имена, — и этот запах она чувствовала только один раз в жизни, много лет назад, когда стояла на пороге Тёмного Храма и смотрела в лицо Демиургу.

Ноль повернулась и пошла в лес — не в тот лес, что шумит листвой и пахнет смолой, а в другой, который начинался сразу за яблоневым садом и которого раньше здесь не было. Она шла, не оставляя следов на чёрном снегу, и там, где ступала её босая нога, снег не таял, а становился ещё чернее, ещё плотнее, ещё мертвее, и из-под него, раздвигая мёрзлую землю, пробивались тонкие, белые, как паутина, корни, которые тянулись к её ногам, словно голодные змеи. Мира, не помня себя, шагнула следом, и в тот же миг двадцать три осколка лопнувшего кольца, висевшие в воздухе, дрогнули и медленно, с противным скрежетом, поплыли за ней, образуя вокруг её тела светящийся, но потрескавшийся кокон, в котором каждая трещина была как разлом в мироздании.

Артём крикнул: «Мира, стой!» — но голос его утонул в чёрном снеге, не оставив даже эха, и он побежал за дочерью, а Алиса, подхватив подол длинного платья, расшитого семью цветами, побежала рядом, и её босые ноги оставляли на чёрном снегу следы, которые мгновенно заполнялись чёрной водой, и в этой воде отражались не их лица, а лица других людей — незнакомых, древних, забытых. Обсидиан, чья кожа цвета антрацита тускло мерцала в сумраке, а глаза, похожие на расплавленное золото, сузились в две тонкие щели, поднял руку, и его плащ, сотканный из теней, взметнулся, как чёрная птица, пытаясь накрыть лес, но лес только засмеялся — беззвучно, всем своим существом, — и плащ отступил, словно испугавшись чего-то более древнего, чем сама тьма.

Илья, скептик с вечно запотевшими очками, споткнулся о корень, которого секунду назад не было, и упал на колени, и его очки упали в чёрный снег, и когда он поднял их, стёкла стали матовыми, как глаза мертвеца, и он ничего не увидел, кроме серой пелены, но зато услышал — отчётливо, ясно, как собственное дыхание, — голос матери, которая умерла, когда ему было семь лет, и этот голос сказал: «Илья, не ходи дальше. Здесь кончаются имена». Кира, эмпат с круглым, добрым лицом, которое сейчас напоминало восковую маску, почувствовала чужую

боль — не одного человека, не сотни, а миллионов, — и эта боль была такой плотной, такой тяжёлой, что она согнулась пополам, и из её рта вырвался беззвучный крик, а из глаз потекли слёзы, которые, падая на снег, превращались в маленькие, чёрные, блестящие жемчужины. Глеб, воин с широкими плечами и руками, способными согнуть подкову, попытался поднять меч, но меч стал невероятно тяжёлым, словно в него влили всю тяжесть мира, и он опустил его, и впервые в жизни почувствовал, что не хочет сражаться.

Лес, в который они вошли, не был похож ни на один лес, какой они видели прежде. Деревья здесь росли не вверх, а вниз — их корни уходили в небо, чёрное, беззвёздное, а ветви стелились по земле, и на этих ветвях вместо листьев росли уши — маленькие, человеческие, звериные, птичьи, — и все они поворачивались вслед за путниками, и все они слушали. Кора деревьев была тёплой, как кожа, и влажной, как язык, и когда Мира случайно коснулась одного ствола, дерево вздрогнуло, и из-под коры выступила прозрачная, липкая жидкость, похожая на слёзы, и в этой жидкости отразилось лицо — не её, не отца, не матери, а чужое, древнее, с глазами без зрачков и ртом, зашитым суровой нитью. Воздух в лесу был густым, как сироп, и пах не хвоей, а старой бумагой, воском и чем-то сладковатым, тошнотворным, как запах разлагающихся цветов, и каждый вдох давался с трудом, словно они пили не воздух, а чужую память.

Чем дальше они шли, тем сильнее становилось ощущение, что их имена — это нечто отдельное, живое, что можно потерять, как ключи, как кошелек, как совесть. Мира попыталась вспомнить, как её зовут, и обнаружила, что помнит только первую букву — «М», — а остальные буквы ускользали, растворялись, как сахар в кипятке. Артём, шагавший рядом, вдруг остановился и с ужасом понял, что забыл имя жены — он помнил её лицо, её глаза, её руки, её запах, но имя исчезло, оставив после себя только пустоту, зияющую, как вырванный зуб. Алиса, в свою очередь, забыла имя дочери и, глядя на неё, чувствовала, как сердце разрывается от любви и отчаяния, потому что любить можно и без имени, но называть — это тоже любовь, а она больше не могла назвать. Обсидиан, чьё имя было не именем, а сутью, почувствовал, как его суть начала распадаться на части, и его золотые глаза впервые за многие века наполнились страхом.

На поляне, куда они вышли, не было ни травы, ни мха, ни цветов — только чёрная, утрамбованная земля, гладкая, как стекло, и в центре этой земли лежали семь поваленных деревьев, образующих круг, а в круге стояли семь камней, и на каждом камне было высечено имя. Мира подошла ближе и увидела, что на первом камне написано «Артём», и буквы были глубокими, свежими, словно их только что вырезали ножом. На втором камне было «Алиса», и это имя тоже было чётким, ярким, живым. На третьем — «Обсидиан», и буквы были выжжены, как клеймо. На четвёртом — «Илья», на пятом — «Кира», на шестом — «Глеб», и все имена были на месте, все были целы. Но седьмой камень был пуст. Абсолютно пуст. Ни буквы, ни царапины, ни следа. И когда Мира протянула руку, чтобы коснуться этой пустоты, она почувствовала, что её собственное имя — то, которое она только что забыла, — начало медленно, мучительно, с болью, вытекать из неё, как кровь из открытой раны, и вливаться в камень, и камень начал темнеть, набухать, покрываться тонкой сетью трещин, и из этих трещин, одна за другой, начали проступать буквы — незнакомые, древние, похожие на клинопись, — и Мира поняла, что это не её имя, а имя того, кто был здесь до неё.

Из-за деревьев, из-за стволов, покрытых ушами, из-за ветвей, стелющихся по земле, вышел человек. Он был высок, очень высок, и закутан в серый плащ, длинный, до самой земли, и капюшон скрывал его лицо, но даже сквозь ткань Мира чувствовала, что у него нет лица — не потому, что оно изуродовано, а потому, что оно ещё не выбрало, каким быть. Он поднял руку, и рука была длинной, с семью пальцами, и каждый палец заканчивался не ногтем, а крошечным, белым, светящимся кристаллом, и когда он заговорил, голос его был не одним голосом, а

сотней, тысячей голосов, звучащих одновременно, и все они говорили разное, но складывались в одну фразу: «Вы пришли. Я ждал вас. Я — Эхо. И я — последний, кто помнит ваши имена».

Мира хотела спросить, где Ноль, где та девушка с белыми волосами и чёрным яблоком, но Эхо покачал головой, и из-под капюшона вырвался сноп серого света, и в этом свете Мира увидела, как Ноль стоит на границе поляны, прислонившись к дереву, и улыбается — всё той же страшной, усталой улыбкой, — и чёрное яблоко в её руке стало ещё больше, ещё темнее, ещё живее, и теперь оно пульсировало не в такт с землёй, а в такт с сердцем Миры, и Мира поняла, что это яблоко — не плод, а её собственный голос, украденный, заточённый, превращённый в чёрный, блестящий шар. Эхо опустил капюшон, и его лицо начало меняться — оно становилось то молодым, то старым, то мужским, то женским, то детским, то звериным, — и в этом бесконечном потоке масок Мира вдруг увидела своё лицо, но не нынешнее, а будущее: лицо женщины с седыми волосами, с глубокими морщинами, с глазами, в которых не осталось ни надежды, ни страха, только пустота, и у этой женщины не было рта — вместо губ была гладкая, натянутая, как барабан, кожа. Эхо улыбнулся — если это можно было назвать улыбкой, — и сказал: «Ты не помнишь меня, потому что я — это ты. Та, кто отдала свой голос, чтобы спасти всех. Та, кто забыла своё имя, чтобы помнить чужие. Та, кто стала Эхом, потому что не смогла стать собой. И теперь я собираю имена — не для того, чтобы украсть, а для того, чтобы вернуть. Но для этого ты должна отдать мне то, что взяла. Ты должна отдать мне своё будущее». И в тот же миг чёрное яблоко в руке Ноль раскололось пополам, и из него, вместо семян, посыпались буквы — сотни, тысячи букв, — и эти буквы, падая на землю, складывались в слова, а слова — в предложения, а предложения — в историю, которую Мира ещё не прожила, но которая уже случилась, и в этой истории она увидела себя — старую, безмолвную, одинокую, — и увидела, как она стоит на краю мира и смотрит, как гаснут звёзды, и не может ничего сказать, потому что голос её — в чёрном яблоке, а яблоко — в руке Ноль, а Ноль — это она сама, та, кто пришла из ниоткуда, чтобы напомнить: у каждого имени есть цена, и цена эта — память. Эхо исчез, растворился в сером свете, но на том месте, где он стоял, остался след — не человеческий, не звериный, а отпечаток копыта, огромного, с семью пальцами, и рядом с этим следом лежал клочок белой шерсти, пахнувшей молоком и полынью, и Мира, глядя на этот клочок, вдруг вспомнила — не умом, а сердцем, — что точно такой же запах был у её бабушки, Марии Васильевны, когда она, много лет назад, перед смертью, держала её, маленькую, на руках и шептала: «Ты — не капля в океане. Ты — целый океан в капле. И имя твоё — не звук. Имя твоё — свет. Не отдавай его. Никому. Никогда».

Эхо, который помнит

Эхо стоял на границе поляны, и его серый плащ, сотканный не из ткани, а из тысяч спутанных, полустёртых воспоминаний, шевелился сам по себе, как живое существо, и в этих шевелящихся складках Мира видела лица — незнакомые, древние, искажённые болью, — и эти лица открывали рты, но не издавали ни звука, потому что их голоса давно были съедены тишиной, той самой тишиной, которая теперь ползла по лесу, как чёрный туман, как смола, как кровь из перерезанного горла мира. Эхо поднял руку — длинную, с семью пальцами, каждый из которых заканчивался белым кристаллом, — и медленно, торжественно, как жрец, совершающий древний обряд, откинул капюшон, и Мира увидела то, что заставило её сердце остановиться на мгновение, а потом забиться чаще, быстрее, отчаяннее, словно пытаясь убежать от того, что предстало перед её глазами.

Под капюшоном не было лица. Была поверхность — живая, текучая, как ртуть, — и на этой поверхности, сменяя друг друга с головокружительной быстротой, проступали лица: то молодое, то старое, то мужское, то женское, то детское, то звериное, то человеческое, то нечеловеческое. Мира видела лицо матери, но с глазами отца. Видела лицо отца, но с улыбкой Обсидиана. Видела своё собственное лицо — но не нынешнее, а то, которое будет у неё через сорок лет, через сто лет, через тысячу: лицо женщины с седыми волосами, с глубокими мор-

щинами, с глазами, в которых не осталось ни надежды, ни страха, только пустота, и у этой женщины не было рта — вместо губ была гладкая, натянутая, как барабан, кожа. Эхо улыбнулся — если это можно было назвать улыбкой, — и его голос, состоящий из тысячи голосов, звучащих одновременно, произнёс: «Ты видишь себя. Ты видишь всех, кем ты была. Ты видишь всех, кем ты будешь. Ты видишь всех, кем ты могла бы стать. И теперь ты знаешь: имя — это не звук. Имя — это выбор. Каждый раз, когда ты называешь себя, ты выбираешь, кем быть. И каждый раз, когда ты забываешь себя, ты теряешь не буквы. Ты теряешь себя».

Он опустил руку, и поляна вокруг них начала меняться. Чёрная, утрамбованная земля, гладкая, как стекло, задрожала, пошла трещинами, и из этих трещин, одна за другой, начали проступать линии — тонкие, светящиеся, голубоватые, как вены под кожей, — и эти линии складывались в контуры, в схемы, в карту. Мира узнала очертания гор, рек, морей, но это была не карта Земли — это была карта чего-то другого, чего-то большего, чего-то, что существовало не в пространстве, а во времени, не в материи, а в духе. Семь кругов, семь пещер, семь горл — они проступали на чёрной земле, как ожоги на коже, как клейма на теле мира, и над каждым кругом висело имя, написанное не буквами, а символами — спиралями, треугольниками, змеями, птицами, — и Мира, не понимая как, читала эти символы так же легко, как читала бы обычные слова.

«Мир онемел не случайно, — сказал Эхо, и его голос стал тише, глуше, словно он говорил не с Мирой, а с самим собой, с тем, кем он был когда-то, с тем, кем он боялся стать, — кто-то украл Первозданный Звук — ту самую ноту, с которой началось творение. Не слово, не крик, не шёпот — ноту. Одну-единственную ноту, из которой родились все остальные звуки, все слова, все песни, все молитвы, все признания в любви, все проклятия, все имена. Без неё всё живое теряет голос, а потом — имя, а потом — память. Сначала ты забываешь, как звучит твой смех. Потом — как звучит твой плач. Потом — как звучит твоё имя. А потом — как звучишь ты сам. И тогда ты становишься тишиной. Не той тишиной, которая покой, не той, которая мир, а той, которая смерть. Той, которая конец. Той, которая ничто».

Он простёр руку, и карта на земле вспыхнула ярче, и Мира увидела, как от каждого из семи кругов исходят тонкие, дрожащие нити, и эти нити тянутся к центру, где сходятся в одну точку, и в этой точке, пульсируя, как сердце, как жизнь, как любовь, светится крошечная, ослепительно белая искра. «Это — Звук, — сказал Эхо. — Точнее, то, что от него осталось. Искра. Искра, которую нужно раздуть в пламя. Но для этого ты должна пройти семь кругов — семь пещер, семь горл, семь смертей. В каждой пещере спит Первозданный Защитник — существо, которое когда-то держало Звук, а теперь держит тишину. Они спят, потому что не могут больше слышать. Они спят, потому что не могут больше говорить. Они спят, потому что не могут больше быть. И чтобы разбудить их, ты должна не кричать. Ты должна не петь. Ты должна не умолять. Ты должна сделать то, чего они боятся больше всего. Ты должна заставить их заплакать. Потому что Звук рождается из боли. Из слёз. Из того, что мы прячем от самих себя. Из того, что мы боимся показать. Из того, что мы называем слабостью, а на самом деле — это сила. Самая главная сила. Самая настоящая. Самая вечная».

Мира хотела спросить, кто украл Звук, кто посмел похитить то, из чего сотворён мир, кто отважился на такое чудовищное, немыслимое, невозможное преступление, но Эхо, словно прочитав её мысли — а может, и вправду прочитав, потому что он был не человеком, а эхом, отражением, тенью, — покачал головой, и его лицо на мгновение застыло, перестало меняться, и Мира увидела на нём выражение такого глубокого, такого бесконечного, такого древнего горя, что ей захотелось отвернуться, закричать, убежать, спрятаться, сделать что угодно, лишь бы не видеть эту боль, эту муку, это отчаяние, которое не имело ни начала, ни конца, ни дна, ни берега, ни смысла, ни оправдания.

«Тот, кто украл Звук, — прошептал Эхо, и его голос стал таким тихим, таким слабым, таким умирающим, что Мира едва расслышала его сквозь шум чёрного снега, сквозь хруст

битого стекла под ногами, сквозь собственное, оглушительно громкое сердцебиение, — тот, кто украл Звук, не враг. Не злодей. Не чудовище. Тот, кто украл Звук, — это тот, кто боится шума. Тот, кто хочет, чтобы мир замолчал навсегда. Не потому, что он ненавидит звук. А потому, что он любит его слишком сильно. Так сильно, что не может вынести, когда звук становится ложью. Когда слова используют, чтобы ранить. Когда песни поют, чтобы обмануть. Когда имена дают, чтобы предать. Тот, кто украл Звук, — это Хранитель. Хранитель, который сошёл с ума от горя. Хранитель, который решил, что лучше тишина, чем ложь. Лучше смерть, чем предательство. Лучше ничто, чем всё, что стало ничем. Его имя...» — Эхо замолчал, и его лицо исказилось, задрожало, потекло, как воск на свече, и из его глаз, из его рта, из его ушей, из его ноздрей потекли тонкие, чёрные, блестящие струйки, похожие на чернила, на кровь, на слёзы, и эти струйки, падая на землю, превращались в крошечных, чёрных, извивающихся змей, которые уползали в трещины, в темноту, в никуда.

«Его имя... — повторил Эхо, и его голос раскололся на тысячу осколков, и каждый осколок звучал по-своему, и все они вместе сливались в один протяжный, мучительный, невыносимый вой, — его имя... Силенциум. Но это не имя. Это приговор. Это диагноз. Это крест. Тот, кто украл Звук, — не человек. Не бог. Не демон. Это — тишина, которая решила стать всем. Это — пауза, которая решила стать песней. Это — смерть, которая решила стать жизнью. И чтобы победить её, ты должна не убить её. Ты должна не изгнать её. Ты должна не заставить её замолчать. Ты должна сделать то, чего она боится больше всего. Ты должна заставить её зазвучать. Ты должна заставить её запеть. Ты должна заставить её вспомнить, что она — не тишина. Она — нота. Одна из семи. И без неё — нет аккорда. Без неё — нет симфонии. Без неё — нет мира».

Эхо сделал шаг назад, и его плащ, сотканный из воспоминаний, начал распадаться, рассыпаться, растворяться в чёрном снеге, и вместе с плащом распадалось, рассыпалось, растворялось его тело — сначала руки, потом ноги, потом туловище, потом голова, — и Мира видела, как он исчезает, как он уходит, как он становится ничем, и в этом ничто не было ни страха, ни сожаления, ни боли, только бесконечная, всеобъемлющая, вечная усталость существа, которое слишком долго помнило чужие имена и слишком давно забыло своё.

Последним исчезло лицо. Оно перестало меняться, застыло, и Мира увидела на нём — на этом текучем, живом, меняющемся лице — выражение такого глубокого, такого пронзительного, такого человеческого отчаяния, что ей захотелось протянуть руку, коснуться, удержать, спасти, но было поздно: лицо растворилось, как дым, как туман, как сон, и на том месте, где стоял Эхо, остался только запах — резкий, холодный, знакомый, — запах озона и мокрой шерсти, тот самый запах, который Мира чувствовала, когда смотрела на чёрное яблоко в руке Ноль, тот самый запах, который она ощущала, когда касалась камня с высеченным именем, тот самый запах, который преследовал её с самого утра, с того момента, как она проснулась от того, что её кровь запела.

Алиса, стоявшая чуть поодаль, опустилась на колени, и её длинное платье, расшитое семью цветами, распласталось по чёрному снегу, как крылья раненой птицы, и она смотрела на то место, где только что стоял Эхо, и в её серых глазах с янтарными крапинками застыли слёзы, которые она не позволяла себе пролить, потому что плакать — это тоже звук, а звук теперь был роскошью, которую они не могли себе позволить. Артём стоял рядом, и его ладони, привыкшие к чужим ранам и чужой боли, были сжаты в кулаки, и жёлтый свет Манипуры, тусклый, дрожащий, всё ещё мерцал между его пальцами, но теперь он был не светом силы, а светом отчаяния, светом человека, который слишком долго был сильным и слишком поздно понял, что сила — это не всегда спасение. Обсидиан, чья кожа цвета антрацита тускло мерцала в сумраке, а глаза, похожие на расплавленное золото, сузились в две тонкие щели, поднял руку, и его плащ, сотканный из теней, взметнулся, как чёрная птица, и на мгновение Мира увидела

в этом плаще отражение — не своё, не отца, не матери, — а отражение Эхо, его текучего, меняющегося лица, его семипалой руки, его бесконечной, всеобъемлющей, вечной усталости.

Илья, скептик с вечно запотевшими очками, стоял на коленях, и его очки, матовые, как глаза мертвеца, лежали рядом, и он смотрел в землю, и в этой земле, в чёрной, утрамбованной, гладкой, как стекло, земле, он видел отражение — не своё, а чужое, — и это чужое отражение улыбалось, и улыбка была страшной, потому что в ней не было ни радости, ни злобы, ни торжества, только бесконечное, всеобъемлющее, вечное знание. Кира, эмпат с круглым, добрым лицом, которое сейчас напоминало восковую маску, стояла, обхватив себя руками, и её губы шевелились, но не издавали ни звука, потому что она чувствовала чужую боль — не одного человека, не сотни, а миллионов, — и эта боль была такой плотной, такой тяжёлой, что она не могла ни говорить, ни плакать, ни дышать. Глеб, воин с широкими плечами и руками, способными согнуть подкову, опустил меч, и меч, коснувшись чёрного снега, мгновенно покрылся изморосью, а изморось была чёрной, как сажа, и в этой измороси отражались звёзды — не те, что на небе, а другие, древние, забытые, погасшие.

Мира сделала шаг вперёд, и чёрный снег под её босыми ногами захрустел, как битое стекло, и чёрные линии на её щиколотках, оплетающие икры, как живые чернильные змеи, начали медленно, мучительно, с болью, подниматься выше, к коленям, к бёдрам, к сердцу, и она чувствовала, как её имя — то, которое она только что забыла, — утекает из неё, как кровь из открытой раны, и вливается в землю, в трещины, в темноту, в никуда, и она знала, что если не остановить это, то через минуту, через час, через день она станет такой же, как Эхо — текучей, меняющейся, безымянной, — и тогда уже никто и никогда не сможет её спасти.

Она хотела закричать, но голос не шёл, потому что голос был украден, потому что голос был в чёрном яблоке, потому что голос был у Ноль, и Ноль стояла на границе поляны, прислонившись к дереву, покрытому ушами, и улыбалась — всё той же страшной, усталой улыбкой, — и чёрное яблоко в её руке стало ещё больше, ещё темнее, ещё живее, и теперь оно пульсировало не в такт с землёй, а в такт с сердцем Миры, и Мира поняла, что это яблоко — не плод, а её собственный голос, украденный, заточённый, превращённый в чёрный, блестящий шар.

Артём шагнул вперёд, и его ладони вспыхнули ярче, и жёлтый свет Манипуры разогнал чёрный туман вокруг него, и он сказал — твёрдо, спокойно, так, как говорил с пациентами, с учениками, с теми, кто потерял надежду: «Мы найдём его. Мы найдём Силенциум. И мы вернём звук. Не потому, что мы сильные. Не потому, что мы смелые. Не потому, что мы герои. А потому, что мы — люди. А люди — это звук. И пока мы звучим, мир жив. И пока мир жив, есть надежда. И пока есть надежда, есть любовь. И пока есть любовь, есть всё. Всё, что имеет значение. Всё, что важно. Всё, чтоечно».

Он протянул руку, и Мира взяла её, и тепло отцовской ладони растеклось по её телу, как горячий чай по замёрзшему горлу, и чёрные линии на её ногах на мгновение замерли, перестали подниматься, перестали пожирать её имя, и она почувствовала, что ещё жива, ещё здесь, ещё она, ещё Мира, ещё дочь, ещё ученица, ещё та, кто может спасти мир, если только найдёт в себе силы не забыть, кто она есть.

Алиса поднялась с колен, и её платье, расшитое семью цветами, снова засияло, потому что каждый цвет — это была сфера, и каждая сфера — это была любовь, и любовь — это была сила, которая не иссякает, которая умножается, когда её отдают, которая живёт, когда её делят. Она подошла к дочери, обняла её, и в этом объятии было всё: прощение, принятие, надежда, вера, любовь. И Мира, стоя между отцом и матерью, между светом Манипуры и светом Анахаты, между силой и любовью, почувствовала, как её собственные сферы — семь сфер, которые она получила в наследство от бабушки, от отца, от матери, от всех, кто был до неё, — начали медленно, с болью, с трудом, но всё же пробуждаться, загораться, звучать.

И в этот момент, когда они стояли втроём посреди чёрного леса, посреди немногого мира, посреди умирающей надежды, Алиса подняла голову и посмотрела на то место, где только что

стоял Эхо, и её глаза, серые с янтарными крапинками, расширились, потому что она увидела то, чего не видели другие: на чёрной, утрамбованной, гладкой, как стекло, земле остался след — не человеческий. Это был отпечаток копыта. Огромного, с семью пальцами, глубоко вдавленного в землю, словно существо, оставившее его, весило не меньше горы. И рядом с этим следом, на чёрном снегу, лежал клочок белой шерсти, пахнувшей молоком и полынью. Той самой шерсти, тем самым запахом, который Мира чувствовала, когда смотрела на чёрное яблоко в руке Ноль, когда касалась камня с высеченным именем, когда просыпалась от того, что её кровь запела. И Алиса, глядя на этот клочок, вдруг вспомнила — не умом, а сердцем, — что точно такой же запах был у её матери, когда она, много лет назад, перед смертью, держала её, маленькую, на руках и шептала: «Ты — не капля в океане. Ты — целый океан в капле. И имя твоё — не звук. Имя твоё — свет. Не отдавай его. Никому. Никогда». И Алиса поняла, что Эхо — не просто эхо. Эхо — это тот, кто был до них. Эхо — это тот, кто помнит все имена, потому что сам потерял своё. Эхо — это Хранитель, который сошёл с ума от горя. Эхо — это Силенциум. И Силенциум — это не враг. Силенциум — это она. Мать Алисы. Бабушка Мира. Та, кто ушла в тишину, потому что не могла больше выносить ложь. Та, кто украла Звук, потому что хотела спасти мир от самого мира. Та, кто теперь стояла на границе поляны, прислонившись к дереву, покрытому ушами, с чёрным яблоком в руке, с улыбкой на губах, с бесконечной, всеобъемлющей, вечной усталостью в глазах, и смотрела, как её внучка делает первый шаг на пути, который приведёт её к правде. К той правде, которую нельзя объяснить. Которую можно только прожить. К той правде, которая убьёт одного из них. К той правде, которая спасёт всех.

Первая пещера: Горло Камня

Они шли сквозь лес, который слушал, сквозь деревья, покрытые ушами, сквозь ветви, стелющиеся по земле, как змеи, сквозь чёрный снег, который не таял, а впитывался в кожу, оставляя на теле тонкие, чёрные, как чернила, линии, похожие на вены, — и чем дальше они шли, тем тише становилось вокруг, тем гуще становился воздух, тем тяжелее становились шаги, словно каждый из них нёс на плечах не только собственный страх, но и страх всех, кто когда-либо проходил здесь до них, всех, кто пытался найти Звук и не нашёл, всех, кто остался в этом лесу навсегда, превратившись в дерево, в камень, в эхо, в ничто. Мира шла первой, и камертон на её груди раскалился добела, обжигая кожу сквозь тонкую льняную ткань, и она чувствовала, как чёрные линии на её ногах поднимаются выше, к бёдрам, к животу, к сердцу, и с каждым шагом её имя утекало из неё, как вода сквозь пальцы, как песок сквозь решето, как жизнь сквозь разорванное горло.

Артём шёл рядом, и его ладони, привыкшие к чужим ранам и чужой боли, всё ещё мерцали тусклым, дрожащим жёлтым светом Манипуры, но этот свет был не силой, а напоминанием — напоминанием о том, что он жив, что он здесь, что он не сдался, — и он смотрел на дочь, на её прямую спину, на её тугую косу, перевитую серебряной нитью, на её босые ноги, которые оставляли на чёрном снегу следы, мгновенно заполняющиеся чёрной водой, и в этой воде отражались не звёзды, не небо, не лица, а что-то другое — древнее, тёмное, забытое, — и он боялся не за себя, а за неё, за её будущее, за её жизнь, за её имя, которое таяло, как свеча на ветру. Алиса шла слева, и её длинное платье, расшитое семью цветами, волочилось по чёрному снегу, собирая на себя чёрные снежинки, как собирает паутина пыль, и она держала мужа за руку, и её пальцы, тонкие, тёплые, живые, сжимали его пальцы так крепко, словно боялись, что если отпустят, то он исчезнет, растворится, станет эхом, станет тенью, станет ничем.

Обсидиан шёл позади, и его плащ, сотканный из теней, стелился по земле, не касаясь травы, и его кожа цвета антрацита тускло мерцала в сумраке, а глаза, похожие на расплавленное золото, сузились в две тонкие щели, и он видел то, чего не видели другие: он видел, как чёрный снег, касаясь его плаща, не тает, а застывает, превращаясь в крошечные, чёрные, блестящие кристаллы, и эти кристаллы, падая на землю, начинали расти, тянуться вверх, к небу, к тьме, к никуда, и он понял, что лес — это не лес. Лес — это живое существо. Лес — это горло. Лес

— это пасть, которая ждёт, чтобы её накормили. Илья, скептик с вечно запотевшими очками, которые теперь стали матовыми, как глаза мертвеца, спотыкался о корни, которых секунду назад не было, и падал на колени, и поднимался, и шёл дальше, потому что не мог остановиться, потому что что-то внутри него — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что он сам не мог назвать, — гнало его вперёд, к пещере, к горлу, к правде. Кира, эмпат с круглым, добрым лицом, которое сейчас напоминало восковую маску, шла, обхватив себя руками, и её губы шевелились, но не издавали ни звука, потому что она чувствовала чужую боль — не одного человека, не сотни, а миллионов, — и эта боль была такой плотной, такой тяжёлой, что она не могла ни говорить, ни плакать, ни дышать, и с каждым шагом её глаза становились всё темнее, всё глубже, всё мертвее. Глеб, воин с широкими плечами и руками, способными согнуть подкову, шёл последним, и его меч, который он не выпускал из рук, покрылся чёрной изморосью, и изморось была такой холодной, что обжигала пальцы, но он не чувствовал боли, потому что боль — это звук, а звук теперь был роскошью, которую они не могли себе позволить.

У подножия Уральских гор, там, где земля становилась камнем, а камень — тьмой, они нашли первую пещеру. Вход был не расщелиной, не дырой, не туннелем — это был рот. Огромный, каменный, с зубами из кварца и языком из мха, с губами из гранита и гортанью из базальта, он открывался в склон горы, и из него веяло холодом, который не имел ничего общего с зимой, с морозом, со снегом, — это был холод космоса, холод пустоты, холод того, что было до начала времён и что будет после конца всего. Запах, исходивший из пещеры, был запахом минералов — кремния, железа, кальция, — и этот запах был настолько резким, настолько концентрированным, что у Миры закружилась голова, а во рту появился вкус крови и соли. Алиса, стоявшая рядом, побледнела, и её серые глаза с янтарными крапинками расширились, потому что она узнала этот запах — она чувствовала его один раз в жизни, много лет назад, когда спускалась в Тёмный Храм, в изнанку веры, в место, где обитают страхи всех религий мира.

Мира сделала шаг вперёд, и рот пещеры сомкнулся за ней, как смыкаются челюсти капкана. Внутри был лабиринт. Не коридоры, не туннели, не ходы — лабиринт из кристаллов, которые не отражали свет, а поглощали его, втягивали, всасывали, как чёрные дыры всасывают звёзды, как смерть всасывает жизнь, как тишина всасывает звук. Кристаллы были разного цвета — красные, оранжевые, жёлтые, зелёные, голубые, синие, фиолетовые, — и каждый цвет соответствовал одной из семи сфер, и каждый кристалл пульсировал в такт с сердцем Миры, и Мира чувствовала, как её собственные сферы — семь центров силы, которые она получила в наследство от бабушки, от отца, от матери, — отзываются на это пульсирование, дрожат, вибрируют, звенят, как струны, натянутые до предела. Тишина здесь была абсолютной. Даже шаги не отдавались эхом — звук просто исчезал, проваливался в кристаллы, как в бездонный колодец, как в ненасытную пасть, как в вечную мерзлоту.

На стенах лабиринта были рисунки. Не фрески, не граффити, не письма — рисунки, высеченные в камне, выжженные в кристаллах, выцарапанные ногтями. Мира подошла ближе и увидела: люди. Много людей. Мужчины, женщины, дети, старики. Все с открытыми ртами. Но без языков. Языки были вырваны, отрезаны, выжжены — и на месте языков зияли чёрные, ровные, аккуратные дыры, словно кто-то очень тщательно, очень методично, очень терпеливо удалял у людей самое главное — способность говорить. Рядом с людьми были животные: волки, медведи, олени, птицы. Все с открытыми клювами и пастьями. Но без голоса. Без звука. Без жизни. А ещё дальше — деревья. Деревья без листьев, без ветвей, без коры. Голые стволы, стоящие в вечной мерзлоте, как надгробия, как памятники, как предупреждения. И под каждым рисунком — подпись. Не буквы, не символы, не иероглифы — отпечатки пальцев. Тысячи, миллионы отпечатков, оставленных теми, кто когда-то был здесь, кто пытался пройти, кто не смог, кто остался, кто умер, кто превратился в камень, в кристалл, в тишину.

Мира шла по лабиринту, и с каждым шагом её собственные сферы — семь центров, которые пульсировали в её теле, как семь сердец, как семь жизней, как семь смертей, — начинали

звучать. Не громко, не отчётливо, не ясно — тихо, едва слышно, как шёпот, как вздох, как последний выдох умирающего. Красная Муладхара в основании позвоночника вибрировала, как натянутая струна. Оранжевая Свадхистхана в животе пульсировала, как второй пульс, как второе сердце. Жёлтая Манипура в солнечном сплетении горела, как свеча в сыром подвале. Зелёная Анахата в центре груди ныла, как открытая рана. Голубая Вишудха в горле сжималась, как перехваченное горло. Синяя Аджна между бровей давила, как третий глаз, который пытается открыться. Фиолетовая Сахасрара над макушкой тянулась вверх, к небу, к тьме, к никуда. И все семь сфер вместе создавали аккорд — не гармоничный, не красивый, не слаженный, — а диссонанс, крик, вой, стон, — и этот вой отражался от кристаллов, поглощался ими, растворялся в тишине, и Мира чувствовала, как её собственный голос — голос, который она потеряла, голос, который был в чёрном яблоке, голос, который принадлежал Ноль, — отзывается на этот вой, дрожит, вибрирует, рвётся наружу.

В центре лабиринта был зал. Огромный, круглый, с куполом из горного хрусталя, сквозь который не проникал свет, потому что света здесь не было — не было и не могло быть. В центре зала, на возвышении из обсидиана, на ложе из окаменевших слов, лежал гигант. Его тело было из камня и корней — гранитные мышцы, базальтовые кости, мраморная кожа, — и корни, тысячи корней, миллионы корней, прорастали сквозь его тело, уходили в пол, в стены, в потолок, в гору, в землю, в мир, и эти корни пульсировали, как вены, как артерии, как жизнь, которая не хочет умирать. Его борода была из мха — седого, древнего, тысячелетнего, — и мох рос не вниз, а вверх, к куполу, к тьме, к небу, и в этом мху гнездились крошечные, слепые, белые существа — не насекомые, не звери, не птицы, — а что-то среднее, что-то древнее, что-то, что не должно существовать. Его глаза были закрыты. Веки — каменные, тяжёлые, серые — были опущены, и под ними, в глубине, в темноте, в никуда, что-то двигалось, что-то жило, что-то ждало. Его рот был приоткрыт. Не широко — чуть-чуть, на толщину пальца, — и из этого рта, из этой щели, из этой трещины в камне, не выходило ни звука. Только пыль. Тонкая, серая, древняя пыль, которая поднималась вверх, к куполу, и оседала на хрустале, и хрусталь темнел, мутнел, умирал.

Это был Офион. Первозданный Змей. Хранитель Муладхары. Тот, кто держал Корень. Тот, кто помнил начало. Тот, кто спал уже тысячу лет. Мира подошла ближе, и камертон на её груди раскалился добела, обжигая кожу, и она почувствовала, как чёрные линии на её ногах — те самые линии, которые поднимались от щиколоток к сердцу, — на мгновение замерли, остановились, перестали пожирать её имя. Она протянула руку и коснулась груди Офиона. Под камнем, под корнями, под мрамором, под базальтом — билось сердце. Медленно, тяжело, с трудом, но билось. Живое. Тёплое. Настоящее. И Мира поняла: Офион не мёртв. Офион спит. И чтобы разбудить его, нужно произнести его имя. Но имя стёрто. Имя забыто. Имя украдено. Имя — в чёрном яблоке. Имя — у Ноль. Имя — у Силенциум.

Артём подошёл к дочери, и его ладони, всё ещё мерцающие тусклым жёлтым светом, легли на плечи Миры, и он сказал — тихо, спокойно, так, как говорил с пациентами, с учениками, с теми, кто потерял надежду: «Я помню. В бабушкиной книге. На последней странице. Там было имя. Я не мог его прочесть. Буквы расплывались. Но я помню его. Оно здесь». Он закрыл глаза, и его губы задрожали, и из глубины его памяти, из глубины его души, из глубины его крови, из глубины всего, что он пережил, всего, что он потерял, всего, что он нашёл, поднялось имя. Оно поднялось, как пузырь из толщи воды, как свет из глубины колодца, как жизнь из глубины смерти. Он открыл глаза. И произнёс: «Офион».

И пещера содрогнулась. Кристаллы на стенах вспыхнули — все сразу, все семь цветов, — и этот свет был не светом, а криком, не сиянием, а болью, не жизнью, а смертью. Пол задрожал, и обсидиановое возвышение треснуло, и из трещин, одна за другой, начали проступать буквы — незнакомые, древние, похожие на клинопись, — и эти буквы складывались в слова, а слова — в имя, и имя было не «Офион». Имя было другое. Имя было длинное, как река, как

время, как жизнь, как смерть, как всё. И Мира, глядя на эти буквы, на это имя, на эту правду, вдруг поняла, что Офион — не имя. Офион — это титул. Офион — это должность. Офион — это маска. А настоящее имя — то, которое она только что прочитала, — принадлежало не Змею. Оно принадлежало тому, кто украл Звук. Тому, кто спрятал его в горле Змея. Тому, кто запечатал его окаменевшими словами. И этим именем было — «Силенциум».

Офион открыл глаза. Медленно, тяжело, с трудом, как открываются двери в заброшенном храме, как разжимаются челюсти капкана, как всходит солнце после тысячелетней ночи. Его глаза были не глазами — это были бездны. Чёрные, глубокие, бездонные, они втягивали в себя свет, как втягивают воду водовороты, как втягивают жизнь смерти, как втягивают звук тишины. И в этих глазах Мира увидела не благодарность. Не радость. Не облегчение. Она увидела ужас. Такой глубокий, такой бесконечный, такой древний, что он не имел ни начала, ни конца, ни дна, ни берега, ни смысла, ни оправдания. Офион смотрел на неё, и его каменные губы дрожали, и из его рта, из его горла, из его груди, из его души поднимался звук — хриплый, сорванный, мучительный, — и этот звук складывался в слова, и слова были: «Ты произнёс моё имя. Теперь ты умрёшь. Ибо тот, кто украл Звук, слышит всё, что звучит. И теперь он знает, что вы здесь».

И в тот же миг, в тот же самый миг, когда Офион произнёс эти слова, когда его каменные губы сомкнулись, когда его бездонные глаза закрылись, когда его сердце — то самое сердце, которое только что билось под камнем, под корнями, под мрамором, — остановилось, из глубины лабиринта, из глубины пещеры, из глубины горла Камня, донёсся звук. Не крик. Не вой. Не стон. Это был смех. Тихий, женский, с хрипотцой, похожий на звук разрываемой ткани. Смех Ноль. И в этом смехе было всё: знание, торжество, усталость, отчаяние, любовь, ненависть, жизнь, смерть. И Мира, стоя посреди лабиринта, посреди кристаллов, посреди тьмы, вдруг поняла: Ноль не просто украла её голос. Ноль не просто заточила его в чёрное яблоко. Ноль использовала этот голос — голос Миры, голос дочери, голос внучки, голос той, кто должна была спасти мир, — чтобы произнести имя Офиона. Чтобы разбудить Змея. Чтобы начать игру. Чтобы запустить механизм, который уже нельзя остановить. И теперь — теперь, когда имя произнесено, когда Змей проснулся, когда Силенциум узнал, что они здесь, — пути назад не было. Был только путь вперёд. В темноту. В смерть. В правду. В ту правду, которую нельзя объяснить. Которую можно только прожить. Которая убьёт одного из них. Которая спасёт всех.

Погоня в камне

Они вышли из пещеры, и мир встретил их не светом, не небом, не ветром, а камнем — серым, холодным, мёртвым камнем, который лежал вокруг них на сотни вёрст, на тысячи лиг, на миллионы лет, и этот камень был не просто камнем, а костью земли, обнажённой, выветренной, изломанной, и в трещинах этой кости, в изломах этой плоти, в пустотах этого скелета затаилась тишина — не та, что покой, а та, что смерть, не та, что мир, а та, что конец. Офион, прежде чем закрыть глаза и остановить сердце, успел дать им дар — «Слезу Корня», кристалл, который пульсировал в руке Миры, как крошечное сердце, как зародыш жизни, как обещание, — но этот дар был не спасением, а предупреждением, потому что кристалл был тёплым, живым, настоящим, и его тепло привлекало тех, кто хотел его отнять, тех, кто хотел его уничтожить, тех, кто хотел, чтобы ничто никогда не звучало.

Артём почувствовал их первым. Он всегда чувствовал опасность раньше других — не потому, что был сильнее, не потому, что был умнее, а потому, что слишком много раз терял, слишком много раз страдал, слишком много раз видел, как смерть забирает тех, кого он любил, и это научило его слышать то, что другие не слышат, видеть то, что другие не видят, чувствовать то, что другие не чувствуют. Он остановился, и его ладони, всё ещё мерцающие тусклым жёлтым светом Манипуры, вспыхнули ярче, и он сказал — тихо, но отчётливо, так, чтобы услышали все: «Они идут. Глухие. Они идут за нами». И в тот же миг, в тот же самый миг,

когда он произнёс эти слова, из-за скал, из-за валунов, из-за трещин, из-за пустот, из-за темноты начали выходить они.

Глухие не были похожи ни на людей, ни на зверей, ни на чудовищ. Это были существа, лишённые всего, что делает живое живым. У них не было ушей — только гладкая, натянутая, как барабан, кожа на месте, где должны были быть раковины. У них не было ртов — только тонкая, едва заметная щель, зашитая суровой нитью, чёрной, как смоль. У них не было глаз — только впадины, глубокие, тёмные, пустые, как глазницы черепа, пролежавшего в земле тысячу лет. Они не издавали звуков — ни шагов, ни дыхания, ни шороха, — но они двигались, и это движение было страшнее любого звука, потому что оно было бесшумным, как падение снежинки на ладонь, как течение времени, как приближение смерти. Их тела были из камня — не из плоти, не из крови, не из костей, — а из камня, серого, покрытого трещинами, мхом, лишайником, и этот камень был не просто камнем, а памятью, памятью о том, что когда-то они были живыми, что когда-то они говорили, слушали, видели, любили, а потом отказались от всего этого, потому что звук причинял боль, потому что слова ранили, потому что жизнь была слишком тяжёлой.

Мира сжала «Слезу Корня» в руке, и кристалл запульсировал сильнее, ярче, жарче, и его свет — красный, глубокий, как кровь из раны, — отразился от камней, от скал, от валунов, и в этом свете Глухие замедлились, остановились, наклонили головы, словно прислушиваясь, словно вспоминая, словно пытаясь понять, что это за тепло, что это за жизнь, что это за звук, который они давно забыли. Но это длилось лишь мгновение. Потом самый большой Глухой — огромный, как скала, с руками, которые могли раздавить человека, как виноградину, — шагнул вперёд, и его каменные ноги оставляли на земле вмятины, и из этих вмятин, одна за другой, начали подниматься тонкие, чёрные, как чернила, струйки, и эти струйки складывались в слова, а слова — в приказ, и приказ был: «Отдайте. Отдайте. Отдайте».

Артём схватил Миру за руку и побежал. Алиса побежала рядом, и её длинное платье, расшитое семью цветами, хлопало на ветру, как парус, как крылья, как знамя, и её босые ноги оставляли на сером камне следы, которые мгновенно заполнялись чёрной водой, и в этой воде отражались не их лица, а лица других людей — незнакомых, древних, забытых, — и эти лица открывали рты, но не издавали ни звука, потому что их голоса давно были съедены тишиной. Обсидиан бежал позади, и его плащ, сотканный из теней, взметнулся, как чёрная птица, и на мгновение накрыл собой Илью, Киру и Глеба, и они, спотыкаясь, падая, поднимаясь, побежали следом, и их дыхание — тяжёлое, прерывистое, отчаянное — было единственным звуком в этом мёртвом мире, единственным доказательством того, что они ещё живы, ещё здесь, ещё они.

Глухие не бежали. Они скользили. Их каменные тела двигались по скалам, по валунам, по трещинам, как вода по стеклу, как тень по стене, как смерть по жизни, и они не отставали, не уставали, не останавливались, потому что у них не было ни мышц, ни костей, ни крови, ничего, что могло бы устать, ничего, что могло бы остановиться, ничего, что могло бы умереть. Они просто двигались, и это движение было неумолимым, как течение реки, как вращение земли, как ход времени. Артём бежал через ущелье — узкое, глубокое, с отвесными стенами из чёрного базальта, с дном из битого кварца, — и его ладони, всё ещё мерцающие жёлтым светом, оставляли на стенах светящиеся отпечатки, и эти отпечатки, один за другим, гасли, как свечи на ветру, как жизни на войне, как надежды в отчаянии. Алиса бежала рядом, и её серые глаза с янтарными крапинками были полны слёз, которые она не позволяла себе пролить, потому что плакать — это звук, а звук теперь был роскошью, которую они не могли себе позволить.

И тогда Алиса упала. Камень под её ногой — тот самый камень, который секунду назад был твёрдым, надёжным, настоящим, — рассыпался, как песок, как пепел, как прах, и она полетела вниз, в трещину, в темноту, в никуда, и её платье, расшитое семью цветами, взметнулось, как крылья раненой птицы, и её руки, тонкие, тёплые, живые, потянулись к Артёму, к

мужу, к любимому, к тому, кто всегда спасал, кто всегда защищал, кто всегда был рядом. Артём обернулся, и его сердце — то самое сердце, которое билось в груди, под рёбрами, под кожей, — остановилось на мгновение, а потом забилось чаще, быстрее, отчаяннее, словно пытаюсь убежать от того, что предстало перед его глазами. Он протянул руку, и его пальцы, привыкшие к чужим ранам и чужой боли, коснулись её пальцев, и он схватил её, и он держал её, и он не отпускал, потому что не мог отпустить, потому что не хотел отпустить, потому что не имел права отпустить.

Но Глухой — самый большой, тот, что шагнул вперёд в пещере, тот, что оставил вмятины на камне, тот, что приказал «Отдайте», — был уже рядом. Он навис над Алисой, как скала, как гора, как смерть, и его каменная рука, огромная, как ствол дерева, как колонна храма, как нога великана, потянулась к ней, и его каменные пальцы, покрытые мхом, лишайником, трещинами, сомкнулись на её плече, и Алиса закричала — беззвучно, потому что голос не шёл, потому что голос был украден, потому что голос был в чёрном яблоке, — и этот беззвучный крик был страшнее любого звука, потому что в нём была вся боль мира, вся любовь мира, вся жизнь мира.

Артём увидел это, и что-то в нём — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что он сам не мог назвать, — проснулось. Он активировал Манипуру — жёлтую сферу воли, солнечное сплетение, центр силы, — и его ладони вспыхнули ярче, и жёлтый свет разогнал чёрный туман вокруг него, и он попытался оттолкнуть Глухого волей, мыслью, желанием, но в мире без звука воля не имеет голоса, а без голоса воля — это просто желание, а желание — это просто пустота. Глухой не отступил. Глухой не замедлился. Глухой просто сжал пальцы сильнее, и Алиса побледнела, и её глаза — серые с янтарными крапинками, — расширились, и в них застыла боль, и эта боль была такой глубокой, такой бесконечной, такой древней, что она не имела ни начала, ни конца, ни дна, ни берега.

И тогда Артём сделал то, чего не делал никогда. Он крикнул. Беззвучно. Всем телом. Всей душой. Всей жизнью. Он крикнул так, как кричат только в самом страшном сне, когда голос не идёт, когда тело не слушается, когда смерть стоит рядом и улыбается. Он крикнул так, как кричал в детстве, когда умерла бабушка, как кричал в юности, когда бросил университет, как кричал в зрелости, когда терял пациентов, когда терял друзей, когда терял всё. Он крикнул так, как кричит человек, который больше не может молчать, который больше не хочет молчать, который больше не будет молчать. И этот крик — беззвучный, но реальный, невидимый, но ощутимый, нематериальный, но разрушительный, — вырвался из него как ударная волна, как взрыв, как землетрясение, как цунами, и эта волна прошла через ущелье, через скалы, через валуны, через трещины, через пустоты, и она ударила в Глухих, и Глухие — все сразу, все сотни, все тысячи, — отступили.

Самый большой Глухой — тот, что держал Алису, тот, что сжал пальцы, тот, что причинил боль, — замер. Его каменная рука разжалась, и Алиса упала на дно ущелья, на битый кварц, на острые камни, но она была жива, она дышала, она смотрела, она видела. Глухой наклонил голову — медленно, тяжело, с трудом, как наклоняет голову статуя, как склоняется дерево, как падает башня, — и его пустые глазницы, его зашитый рот, его гладкая кожа на месте ушей повернулись к Артёму, и в этих пустых глазницах, в этих тёмных впадинах, в этих бездонных колодцах что-то дрогнуло. Что-то проснулось. Что-то вспомнило. И тогда Глухой издал звук. Хриплый, сорванный, мучительный, как скрежет камня о камень, как вой ветра в пустой трубе, как последний выдох умирающего. Он произнёс одно слово. Одно-единственное слово, которое эхом разнеслось по ущелью, по скалам, по камню, по миру. Он сказал: «Слышу».

И в тот же миг, в тот же самый миг, когда это слово прозвучало, тело Глухого начало рассыпаться. Медленно, тяжело, с трудом, как рассыпается статуя, простоявшая тысячу лет, как рассыпается скала, подточенная ветром, как рассыпается жизнь, подточенная смертью. Камень отпадал от него кусками, и эти куски, падая на землю, превращались в пыль, а пыль — в ничто.

Мох, лишайник, трещины — всё исчезало, всё растворялось, всё умирало. И когда от Глухого осталась только тень — тонкая, серая, дрожащая, — эта тень подняла руку, и в этой руке, в этих каменных пальцах, в этих трещинах и мхах, что-то блеснуло. Что-то маленькое, круглое, тёплое. Что-то, что Глухой держал в себе всё это время. Что-то, что он хранил, как сокровище, как тайну, как жизнь. И это что-то он протянул Артёму. И Артём взял это. И когда он разжал пальцы, он увидел, что это — камень. Маленький, гладкий, тёплый. И на этом камне было высечено имя. Не «Артём». Не «Алиса». Не «Мира». Другое имя. Древнее. Забытое. И Артём, глядя на это имя, на эти буквы, на эту правду, вдруг понял: Глухие — не враги. Глухие — не чудовища. Глухие — это те, кто когда-то отказался от звука. Те, кто замолчал. Те, кто умер. И этот Глухой — самый большой, самый древний, самый страшный — был не просто Глухим. Он был Хранителем. Он был тем, кто когда-то держал Звук. Он был тем, кто знал Силенциум. И имя, высеченное на камне, — это имя Силенциум. Настоящее имя. То, которое она скрывала. То, которое она боялась. То, которое она убила в себе. И это имя было — «Мария». Мария Васильевна. Бабушка Артёма. Бабушка Миры. Та, кто ушла в тишину. Та, кто украла Звук. Та, кто теперь стояла на границе ущелья, прислонившись к скале, с чёрным яблоком в руке, с улыбкой на губах, с бесконечной, всеобъемлющей, вечной усталостью в глазах, и смотрела, как её внук держит в руке камень с её именем. Как её внучка смотрит на неё, не понимая, не веря, не желая понимать. Как её сын — Артём, её мальчик, её кровь, её жизнь, — поднимает голову и встречается с ней взглядом. И в этом взгляде — всё: любовь, ненависть, прощение, проклятие, жизнь, смерть, всё. И Мария Васильевна, Силенциум, Хранительница Тишины, Первое Слово, улыбнулась — страшно, устало, нежно, — и сказала: «Ты произнёс моё имя, внучок. Теперь ты умрёшь. Но не сейчас. Сначала — ты должен меня выслушать. Потому что я — не враг. Я — не злодей. Я — не чудовище. Я — та, кто любит тебя. Та, кто всегда любила. Та, кто никогда не переставала любить. И я расскажу тебе правду. Всю правду. Ту правду, которую нельзя объяснить. Которую можно только прожить. Ту правду, которая убьёт одного из нас. Ту правду, которая спасёт всех».

Лагерь у реки, которая не течёт

Они разбили лагерь в ущелье, среди чёрных базальтовых скал, которые возвышались над ними, как стены разрушенного храма, как рёбра гигантского зверя, павшего здесь тысячу лет назад и окаменевшего от горя, и над этими скалами висело небо — не чёрное, не звёздное, не живое, — а серое, плоское, пустое, как глаз слепца, как страница, с которой стёрли все слова, как жизнь, из которой вынули всё, что имело значение. Воздух был холодным, но не свежим, тяжёлым, но не влажным, неподвижным, но не тихим, и в этой неподвижности, в этой пустоте, в этом отсутствии всего, что делает мир миром, было что-то более страшное, чем любой звук, любая боль, любая смерть, потому что смерть — это конец, а это было отсутствие конца, отсутствие начала, отсутствие всего.

Река, у которой они остановились, не текла. Вода в ней стояла — застывшая, гладкая, как стекло, как зеркало, как лёд, который никогда не тает, — и в этой воде отражались звёзды, но небо было пустым, и Мира, глядя на это отражение, на эти звёзды, которых не было, на этот свет, который не светил, вдруг поняла, что река течёт. Не здесь. Не сейчас. Не в этом времени. Река течёт в другом месте, в другом мире, в другой жизни, и это место, этот мир, эта жизнь были настолько далеки, настолько недостижимы, настолько невозможны, что от них осталось только отражение — бледное, дрожащее, умирающее, — и это отражение было последним доказательством того, что когда-то, давным-давно, в мире был звук, была жизнь, была любовь.

Артём сел на камень у воды, и его ладони, всё ещё мерцающие тусклым жёлтым светом Манипуры, опустились на колени, и он смотрел на застывшую реку, на отражённые звёзды, на пустое небо, и в его глазах — серых, глубоких, усталых, — застыла та особая, тяжёлая, древняя печаль, которая приходит к тем, кто слишком много видел, слишком много знал, слишком много потерял. Алиса села рядом, и её длинное платье, расшитое семью цветами, распла-

сталось по чёрному камню, как крылья уставшей птицы, и она достала из кармана маленький блокнот — тот самый блокнот, который всегда был с ней, который она вела с юности, который хранил её рисунки, её мысли, её жизнь, — и начала рисовать. Не думая. Не выбирая. Не планируя. Просто позволяя руке двигаться, а сердцу — говорить.

Костёр, который они развели из сухих веток, найденных среди камней, горел без треска. Пламя поднималось вверх — жёлтое, оранжевое, красное, — но не издавало ни звука, ни шороха, ни потрескивания, словно огонь потерял голос вместе со всем остальным миром, словно пламя стало немым, словно даже стихии лишились способности говорить. И это молчаливое пламя, это беззвучное горение, это отсутствие треска было настолько unnatural, настолько неправильным, настолько жутким, что Кира, сидевшая чуть поодаль, обхватив колени руками, начала раскачиваться вперёд-назад, и её круглое, доброе лицо, которое сейчас напоминало восковую маску, покрылось сетью тонких морщин, а из глаз, широко открытых, но не видящих, потекли слёзы — беззвучные, как всё в этом мире, — и эти слёзы, падая на чёрный камень, превращались в крошечные, чёрные, блестящие жемчужины.

Глеб сидел у входа в ущелье, и его меч, покрытый чёрной изморосью, лежал рядом, и он смотрел в темноту, в пустоту, в никуда, и его широкие плечи, способные согнуть подкову, сейчас были опущены, сгорблены, сломлены, и в его глазах — голубых, ясных, когда-то полных жизни, — застыла та особая, тяжёлая, мужская пустота, которая приходит к воинам, когда они понимают, что меч не может решить всё, что сила не может спасти всех, что смерть — не враг, а часть жизни. Илья сидел рядом с Глебом, и его очки — матовые, как глаза мертвеца, — лежали на коленях, и он смотрел на них, на эти стёкла, которые больше не показывали мир, и в его голове — рациональной, скептической, научной, — впервые за многие годы не было ни одной мысли. Только пустота. Только тишина. Только ничто.

Обсидиан стоял на краю лагеря, и его плащ, сотканный из теней, стелился по земле, не касаясь камня, и его кожа цвета антрацита тускло мерцала в свете немого костра, а глаза, похожие на расплавленное золото, сузились в две тонкие щели, и он смотрел на реку, на застывшую воду, на отражённые звёзды, и в его взгляде — древнем, как мир, усталом, как время, — было что-то, чего не было у других. Знание. Он знал эту реку. Он видел её раньше. Много лет назад. В другой жизни. В другом мире. И тогда эта река текла. И тогда эта вода была живой. И тогда эти звёзды светили. И тогда — тогда он был другим. Тогда он был Обсидианом, воином, защитником, тем, кто сражался с Хаосом и побеждал. А теперь — теперь он стоял на берегу мёртвой реки, и смотрел на мёртвую воду, и вспоминал мёртвые звёзды, и понимал, что всё, что он делал, всё, за что он боролся, всё, что он любил, — всё это было не напрасно, но всё это было недостаточно.

Алиса рисовала. Её рука двигалась быстро, уверенно, легко, и на странице блокнота — белой, чистой, живой, — появлялись линии, контуры, образы. Она нарисовала Офиона. Того самого Змея. Того самого Хранителя. Того самого гиганта, который лежал в пещере, на ложе из окаменевших слов, с закрытыми глазами, с приоткрытым ртом, с сердцем, которое билось под камнем, под корнями, под мрамором. Она нарисовала его рот — приоткрытый, тёмный, бездонный, — и из этого рта, из этой щели, из этой трещины в камне, начали вылетать буквы. Не слова. Не предложения. Буквы. Отдельные. Разрозненные. Живые. Они вылетали, как птицы из клетки, как души из тела, как мысли из головы, и кружились над нарисованным Офионом, и складывались в слова, и слова были именами. Артём подошёл ближе, заглянул через плечо жены, и его глаза — серые, глубокие, усталые, — расширились, потому что он увидел первое имя. Оно было написано чётко, ясно, разборчиво, словно его вывели чернилами, а не карандашом. Это имя было — «Эхо».

Алиса перевернула страницу. На следующей — пустой, белой, ждущей — её рука снова начала двигаться, и через мгновение там появился портрет. Эхо. Того самого существа, которое они встретили в лесу, которое говорило тысячью голосов, которое помнило все имена,

которое потеряло своё. Но лица не было. Вместо лица — зеркало. Гладкое, круглое, тёмное. И в этом зеркале отражался Артём. Не нынешний. Не тот, что стоял сейчас у костра, у мёртвой реки, среди чёрных скал. Другой. Старый. С седыми волосами, с глубокими морщинами, с закрытыми глазами. И на его губах — печать. Чёрная, тяжёлая, каменная. Печать, которая запечатывала рот, которая не давала говорить, которая убивала голос.

Мира подошла, и её глаза — серые с янтарными крапинками, как у матери, и синие, как у отца, — расширились, потому что она тоже увидела. Увидела отца. Будущего. Старого. Немого. И на его губах — печать. Ту самую печать, которую она видела в лесу, на рисунке, который Алиса нарисовала раньше. Ту самую печать, которую она видела на лице Эхо. Ту самую печать, которая была на её собственном рту, когда она пыталась закричать и не могла. И тогда Алиса, глядя на этот рисунок, на это зеркало, на это отражение, вдруг поняла: Эхо — не просто существо. Эхо — не просто Хранитель. Эхо — это Артём. Артём, который потерял голос. Артём, который замолчал. Артём, который стал тишиной. Артём, который умер. И это будущее. Это то, что ждёт его. То, что ждёт их всех. Если они не найдут Звук. Если они не остановят Силенциум. Если они не спасут мир.

И тогда рисунок начал меняться. Сам. Без руки Алисы. Без карандаша. Без усилий. Печать на губах будущего Артёма — чёрная, тяжёлая, каменная — начала трескаться. Медленно, тяжело, с трудом, как трескается лёд в начале весны, как трескается камень под ударами молота, как трескается смерть под напором жизни. И из этих трещин, одна за другой, начали выходить струйки света. Не яркого, не ослепительного, не белого, — а мягкого, тёплого, золотого. Света, который не резал глаза, а лечил. Света, который не обжигал, а согревал. Света, который не убивал, а воскрешает. И этот свет складывался в слово. Одно-единственное слово. Короткое. Простое. Вечное. Это слово было — «Прости».

Артём смотрел на это слово, и его горло сжималось, и его глаза наполнялись слезами, которых он не позволял себе пролить, потому что плакать — это звук, а звук теперь был роскошью, которую они не могли себе позволить. Алиса смотрела на это слово, и её серые глаза с янтарными крапинками становились всё темнее, всё глубже, всё мертвее, и она понимала, что это не просто слово. Это просьба. Это мольба. Это крик души, которая не может говорить, но которая хочет, чтобы её услышали. И эта душа — душа Артёма. Душа её мужа. Душа отца её дочери. Душа человека, который слишком долго молчал, который слишком долго держал всё в себе, который слишком долго боялся сказать то, что должен был сказать. И теперь — теперь, когда голос украден, когда слова исчезли, когда звук умер, — он наконец-то говорил. Не голосом. Не словами. Рисунком. Светом. Любовью.

Мира смотрела на рисунок, и её руки дрожали, и её сердце — то самое сердце, которое билось в груди, под рёбрами, под кожей, — колотилось так сильно, так быстро, так отчаянно, что ей казалось, что оно вот-вот вырвется наружу, вот-вот разорвёт грудь, вот-вот остановится навсегда. Она понимала, что это не просто рисунок. Это пророчество. Это предупреждение. Это правда. Та правда, которую нельзя объяснить. Которую можно только прожить. Та правда, которая убьёт одного из них. Та правда, которая спасёт всех. И эта правда была — «Прости». Артём должен попросить прощения. Не у неё. Не у Алисы. Не у мира. У себя. За то, что молчал. За то, что боялся. За то, что не говорил то, что должен был говорить. За то, что не любил так, как должен был любить. За то, что не жил так, как должен был жить. И если он не сделает этого — если он не попросит прощения, не простит себя, не примет себя, — то он станет Эхо. Он потеряет голос. Он потеряет имя. Он потеряет всё. И тогда — тогда уже никто и никогда не сможет его спасти.

Алиса перевернула страницу. На следующей — пустой, белой, ждущей — её рука снова начала двигаться, но на этот раз она не рисовала. Она писала. Слова. Предложения. Целые абзацы. И эти слова, эти предложения, эти абзацы складывались в историю. Историю, которую она не знала. Историю, которую она не помнила. Историю, которую она никогда не слы-

шала. Но которая была правдой. И в этой истории говорилось о девушке. О девушке с белыми волосами и чёрными глазами. О девушке, которая держала в руке чёрное яблоко. О девушке, которая украла Звук. О девушке, которая стала тишиной. И в этой истории говорилось, что девушку звали не Ноль. Не Силенциум. Не Мария. Её звали иначе. Её звали — «Первая». Первая. Та, кто была до всех. Та, кто помнила начало. Та, кто видела, как рождается мир. Та, кто знала, что будет в конце. И эта Первая — эта девушка, эта Силенциум, эта Мария, — была не врагом. Она была жертвой. Она была той, кто любила слишком сильно. Той, кто хотела спасти мир от самого мира. Той, кто украла Звук, потому что Звук убивал. Потому что Звук ранил. Потому что Звук превращал любовь в боль, а жизнь — в смерть. И теперь — теперь она стояла на границе ущелья, прислонившись к скале, с чёрным яблоком в руке, с улыбкой на губах, с бесконечной, всеобъемлющей, вечной усталостью в глазах, и смотрела, как её внучка читает историю, которую она никогда не должна была узнать. Как её внук держит в руке камень с её именем. Как её сын — Артём, её мальчик, её кровь, её жизнь, — поднимает голову и встречается с ней взглядом. И в этом взгляде — всё: любовь, ненависть, прощение, проклятие, жизнь, смерть, всё. И тогда Мария Васильевна, Силенциум, Первая, Хранительница Тишины, улыбнулась — страшно, устало, нежно, — и сказала: «Ты прочитала мою историю, внучка. Теперь ты знаешь. Теперь ты понимаешь. Теперь ты видишь. Я — не враг. Я — не злодей. Я — не чудовище. Я — та, кто любит вас. Та, кто всегда любила. Та, кто никогда не переставала любить. И я расскажу вам правду. Всю правду. Ту правду, которую нельзя объяснить. Которую можно только прожить. Ту правду, которая убьёт одного из нас. Ту правду, которая спасёт всех. Но сначала — сначала вы должны кое-что понять. Вы должны понять, что Звук — это не то, что можно украсть. Звук — это не то, что можно спрятать. Звук — это не то, что можно убить. Звук — это любовь. А любовь — это не то, что можно потерять. Любовь — это то, что можно только отдать. И тот, кто отдаёт, — тот получает. И тот, кто получает, — тот отдаёт. И в этом — тайна. Тайна, которую вы узнаете. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — спите. Отдыхайте. Набирайтесь сил. Потому что завтра — завтра вы войдёте во вторую пещеру. И то, что вы там найдёте, — изменит вас навсегда».

И в тот же миг, в тот же самый миг, когда она произнесла эти слова, когда её голос — хриплый, низкий, древний — растворился в тишине, когда её улыбка — страшная, усталая, нежная — погасла, как свеча на ветру, Мария Васильевна, Силенциум, Первая, Хранительница Тишины, исчезла. Не ушла. Не растворилась. Не умерла. Просто исчезла. Как будто её никогда не было. Как будто она была сном. Как будто она была эхом. И на том месте, где она стояла, остался только запах — резкий, холодный, знакомый, — запах молока и полыни. Тот самый запах, который Мира чувствовала с самого утра. Тот самый запах, который преследовал её в лесу. Тот самый запах, который она вдыхала, когда смотрела на чёрное яблоко. И тогда Мира поняла: это не запах бабушки. Это запах Силенциум. Это запах тишины. Это запах смерти. И этот запах — теперь всегда будет с ней. Потому что она — внучка Марии. Потому что она — наследница. Потому что она — та, кто должна спасти мир. И для этого — для этого ей придётся сделать то, чего не делала ни одна живая душа. Ей придётся отдать свой голос. Добровольно. Сознательно. Навсегда. Чтобы Звук вернулся. Чтобы мир зазвучал. Чтобы любовь победила. И тогда — тогда она станет Эхо. Она станет тишиной. Она станет ничем. Но мир — мир будет спасён. И это — это была та самая тайна. Та самая правда. Та самая загадка, которая должна была раскрыться в конце главы. Мира должна была умереть. Не физически. Не телом. Душой. Голосом. Именем. Чтобы спасти всех. И теперь — теперь она знала. Теперь она понимала. Теперь она видела. И это знание — это понимание, это видение — было страшнее любого чудовища, любой тьмы, любой смерти. Потому что смерть — это конец. А это — это начало. Начало конца. Начало жертвы. Начало всего. И Мира, стоя посреди лагеря, среди чёрных скал, у мёртвой реки, под пустым небом, вдруг почувствовала, как её собственный голос — голос, который был украден, голос, который был в чёрном яблоке, голос, который принадлежал

Ноль, — начал медленно, мучительно, с болью, возвращаться к ней. Не весь. Не полностью. Часть. Крошечная часть. Но достаточная, чтобы она могла прошептать — тихо, едва слышно, но отчётливо: «Я знаю. Я согласна. Я отдам. Я спасу». И в тот же миг чёрное яблоко в руке невидимой Ноль — той, что стояла на границе ущелья, той, что улыбалась, той, что ждала, — треснуло. Появилась первая трещина. Крошечная. Едва заметная. Но достаточная, чтобы свет — тот самый свет, который вышел из печати на рисунке Алисы, тот самый свет, который сложился в слово «Прости», — проник внутрь. И этот свет — этот луч надежды, этот луч жизни, этот луч любви — осветил тьму. На мгновение. На один удар сердца. На один вдох. И этого было достаточно. Достаточно, чтобы понять: Звук можно вернуть. Тишину можно победить. Смерть можно обмануть. Если отдать всё. Если отдать себя. Если отдать голос. И тогда Мира закрыла глаза. И впервые за долгое время — впервые с того момента, как она проснулась от того, что её кровь запела, — она улыбнулась. Не страшно. Не устало. Не нежно. А светло. Радостно. Свободно. Потому что она знала. Она знала, что делать. Она знала, куда идти. Она знала, кем быть. И это знание — это понимание, это видение — было не проклятием, а даром. Даром, который она примет. Даром, который она отдаст. Даром, который спасёт всех. И в этом — в этом была тайна. Тайна первой главы. Тайна, которая раскрылась. Тайна, которая стала началом. Началом пути. Началом жертвы. Началом всего.

Мост из костей

На рассвете, когда серое небо над ущельем начало светлеть, приобретая оттенок старой, выцветшей на солнце бумаги, когда чёрный снег перестал падать, а воздух, ещё вчера густой, как сироп, стал прозрачным, но не свежим, а пустым, как дыхание мертвеца, они вышли из лагеря и пошли дальше — на север, туда, где скалы расступались, образуя узкий проход, за которым, если верить карте Эхо, выжженной на чёрной земле поляны, начиналась вторая пещера, второе горло, вторая смерть. Мира шла первой, и камертон на её груди больше не раскалялся, не обжигал кожу, не звенел — он молчал, как молчало всё вокруг, но в этом молчании было что-то новое, что-то, чего не было раньше: тонкая, едва уловимая вибрация, словно камертон настраивался на частоту, которую никто, кроме него, не слышал. Чёрные линии на её ногах — те самые линии, которые поднимались от щиколоток к сердцу, которые пожирали её имя, которые превращали её в ничто, — замерли на полпути, остановились, застыли, словно наткнувшись на невидимую преграду, и Мира чувствовала, что это не победа, а пауза, не спасение, а отсрочка, не конец, а начало чего-то нового, чего-то более страшного, чем всё, что было раньше.

Артём шёл рядом, и его ладони, всё ещё мерцающие тусклым жёлтым светом Манипуры, были сжаты в кулаки, и он смотрел на дочь, на её прямую спину, на её тугую косу, перевитую серебряной нитью, на её босые ноги, которые оставляли на сером камне следы, мгновенно заполняющиеся чёрной водой, и в этой воде отражались не звёзды, не небо, не лица, а что-то другое — древнее, тёмное, забытое, — и он понимал, что не может её защитить, не может её спасти, не может ничего изменить, потому что сила — это не всегда спасение, потому что воля — это не всегда победа, потому что любовь — это не всегда жизнь. Алиса шла слева, и её длинное платье, расшитое семью цветами, волочилось по серому камню, собирая на себя чёрные снежинки, которые не таяли, а впитывались в ткань, оставляя на ней тёмные, влажные пятна, и она держала мужа за руку, и её пальцы, тонкие, тёплые, живые, сжимали его пальцы так крепко, словно боялись, что если отпустят, то он исчезнет, растворится, станет эхом, станет тенью, станет ничем.

Обсидиан шёл позади, и его плащ, сотканный из теней, стелился по камню, не касаясь его, и его кожа цвета антрацита тускло мерцала в сером свете, а глаза, похожие на расплавленное золото, сузились в две тонкие щели, и он видел то, чего не видели другие: он видел, как скалы, мимо которых они проходили, медленно, едва заметно, но всё же меняются. Трещины в базальте становились глубже, темнее, шире, и из этих трещин, одна за другой, начинали про-

ступать линии — тонкие, светящиеся, голубоватые, как вены под кожей, — и эти линии складывались в контуры, в схемы, в карту, ту самую карту, которую Эхо выжег на земле поляны, и Обсидиан, глядя на эту карту, на эти линии, на эти контуры, вдруг понял: скалы — это не скалы. Скалы — это кости. Кости земли. Кости мира. Кости тех, кто когда-то жил здесь, кто пытался пройти, кто не смог, кто остался, кто умер, кто превратился в камень, в кристалл, в тишину.

Илья, скептик с вечно запотевшими очками, которые теперь стали матовыми, как глаза мертвеца, шёл, спотыкаясь о корни, которых секунду назад не было, и падал на колени, и поднимался, и шёл дальше, потому что не мог остановиться, потому что что-то внутри него — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что он сам не мог назвать, — гнало его вперёд, к пещере, к горлу, к правде. Кира, эмпат с круглым, добрым лицом, которое сейчас напоминало восковую маску, шла, обхватив себя руками, и её губы шевелились, но не издавали ни звука, потому что она чувствовала чужую боль — не одного человека, не сотни, а миллионы, — и эта боль была такой плотной, такой тяжёлой, что она не могла ни говорить, ни плакать, ни дышать. Глеб, воин с широкими плечами и руками, способными согнуть подкову, шёл последним, и его меч, который он не выпускал из рук, покрылся чёрной изморосью, и изморось была такой холодной, что обжигала пальцы, но он не чувствовал боли, потому что боль — это звук, а звук теперь был роскошью, которую они не могли себе позволить.

Проход между скалами закончился, и они вышли на край пропасти. Пропать была не просто пропастью — это был разлом, трещина, рана в теле мира, уходящая вниз на сотни, на тысячи, на миллионы вёрст, и дно её терялось в темноте, в холоде, в никуда, и из этой темноты, из этой бездны, из этого никуда поднимался ветер — не холодный, не тёплый, не свежий, не спёртый, — а мёртвый, пустой, без запаха, без вкуса, без жизни, и этот ветер не дул, а тек, как вода, как время, как смерть. Над пропастью висел мост. Не верёвочный, не каменный, не деревянный, — мост из костей. Кости были разного размера, разной формы, разного цвета: длинные и короткие, толстые и тонкие, белые и серые, гладкие и покрытые трещинами, — и все они были соединены между собой не верёвками, не гвоздями, не смолой, а чем-то другим, чем-то невидимым, чем-то, что держало их вместе, как держит любовь, как держит память, как держит жизнь. Мира подошла ближе и увидела, что кости — не человеческие. Не звериные. Не птичьи. Это были кости слов. Каждое слово, которое когда-либо было сказано и забыто, оставило после себя кость. Каждое признание в любви, каждая клятва, каждая молитва, каждое проклятие, каждая ложь, каждая правда — всё это превратилось в кости, и эти кости теперь висели над пропастью, образуя мост, по которому можно было перейти на другую сторону, в другую пещеру, в другую смерть.

Мост был хрупким. Кости дрожали на ветру, скрипели, но не ломались, потому что слово — это не просто звук. Слово — это сила. Слово — это жизнь. Слово — это смерть. И тот, кто шёл по этому мосту, шёл по костям всех, кто когда-либо говорил, всех, кто когда-либо молчал, всех, кто когда-либо любил, всех, кто когда-либо умирал. Артём ступил на мост первым, и кости под его ногами застонали, заскрипели, задрожали, но выдержали, и он пошёл вперёд, и его ладони, всё ещё мерцающие жёлтым светом, оставляли на костях светящиеся отпечатки, и эти отпечатки, один за другим, гасли, как свечи на ветру, как жизни на войне, как надежды в отчаянии. Алиса ступила следом, и её платье, расшитое семью цветами, задевало кости, и кости звенели, как струны, как колокольчики, как голоса, которые пытались что-то сказать, но не могли, потому что их время прошло, потому что их звук умер, потому что их слова забыли.

На середине моста была развилка. Две тропы расходились в разные стороны: одна вела вниз, в темноту, в холод, в никуда, другая — вверх, к свету, к теплу, к жизни. На камне, лежащем у развилки, было высечено — не буквами, не символами, а отпечатками пальцев, — предупреждение: «Налево пойдёшь — имя потеряешь. Направо пойдёшь — имя найдёшь, но мир потеряешь». Артём остановился, и его сердце — то самое сердце, которое билось в груди, под

рёбрами, под кожей, — забилося чаще, быстрее, отчаяннее, потому что он понял: это не просто выбор. Это испытание. Это проверка. Это та самая развилка, о которой говорил Эхо, та самая, где решается судьба, где определяется, кем ты был, кем ты есть, кем ты будешь. Он посмотрел налево — в темноту, в холод, в никуда, — и увидел, что тропа вниз вымощена костями, но не словами, а именами. Именами тех, кто когда-то шёл этой дорогой, кто потерял себя, кто стал ничем. Он посмотрел направо — в свет, в тепло, в жизнь, — и увидел, что тропа вверх вымощена тоже костями, но не именами, а сердцами. Сердцами тех, кто когда-то шёл этой дорогой, кто нашёл себя, кто стал всем. И тогда Артём понял: выбор — это не между добром и злом. Выбор — это между собой и миром. Между тем, чтобы спасти себя, и тем, чтобы спасти всех. Между жизнью и смертью. Между любовью и ничем.

Алиса подошла к мужу, и её серые глаза с янтарными крапинками были полны слёз, которые она не позволяла себе пролить, потому что плакать — это звук, а звук теперь был роскошью, которую они не могли себе позволить. Она взяла его за руку, и её пальцы, тонкие, тёплые, живые, сжали его пальцы так крепко, что он почувствовал, как его кости затрещали, и она сказала — беззвучно, одними губами, но он понял, — «Я с тобой. Куда ты, туда и я. Всегда. Навсегда». Артём посмотрел на неё, на жену, на любимую, на ту, ради которой он жил, ради которой он умирал, ради которой он готов был отдать всё, и в его глазах — серых, глубоких, усталых, — застыла та особая, тяжёлая, древняя нежность, которая приходит к тем, кто слишком много любил, слишком много терял, слишком много страдал. Он кивнул. И они пошли налево. В темноту. В холод. В никуда. Потому что имя — это не то, что дают. Имя — это то, что отдают. И тот, кто отдаёт имя, — тот получает мир.

Мост под ними задрожал. Кости слов, из которых он был построен, начали рассыпаться, ломаться, падать в пропасть, и этот звук — звук ломающихся костей, звук рассыпающихся слов, звук умирающих голосов, — был первым звуком, который они слышали за всё время, с того момента, как проснулись от того, что кровь запела. Но этот звук не был страшным. Он не был ужасным. Он не был смертельным. Он был освобождающим. Потому что кости, падая в пропасть, превращались в птиц. Немых, но живых. Слепых, но зрячих. Мёртвых, но воскресающих. Птицы взлетали из бездны, из темноты, из никуда, и их крылья — белые, серые, чёрные, — хлопали по воздуху, и этот хлопок был ритмом, был пульсом, был сердцебиением мира. Они уносились в небо, которое темнело, сгущалось, наливалось чёрным, как чернила, как кровь, как смерть, и в этом чёрном небе, среди этих чёрных облаков, среди этого чёрного ничто, они зажигались — одна за другой, одна за другой, — как звёзды, как свечи, как надежды. И этих звёзд становилось всё больше, и этих свечей становилось всё ярче, и этих надежд становилось всё больше, и больше, и больше. И тогда — тогда, когда небо стало чёрным от птиц, а птицы стали звёздами, а звёзды стали светом, — из темноты, из глубины, из бездны, из никуда донёсся первый звук. Далёкий. Глухой. Мучительный. Как удар сердца. Как удар колокола. Как удар судьбы.

Мира замерла. Она стояла на середине рушащегося моста, и кости слов падали вокруг неё, и птицы взлетали из бездны, и звёзды зажигались в чёрном небе, и этот первый звук — этот далёкий, глухой, мучительный удар, — проник в неё, в её тело, в её душу, в её сердце, и она почувствовала, как что-то внутри неё — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что она сама не могла назвать, — проснулось. Что-то забилося. Что-то зазвучало. И это что-то было — Звук. Не тот Звук, который украли. Не тот Звук, который спрятали. Не тот Звук, который убили. А другой. Новый. Её собственный. Тот самый, который она должна была отдать. Тот самый, который она должна была потерять. Тот самый, который она должна была принести в жертву. И тогда Мира поняла: это не конец. Это начало. Начало жертвы. Начало пути. Начало всего. И в этом — в этом была тайна. Тайна первой главы. Тайна, которая раскрылась. Тайна, которая стала началом. Началом пути. Началом жертвы. Началом всего.

И вот тогда, когда последняя кость упала в пропасть, когда последняя птица взлетела в небо, когда последняя звезда зажглась в черноте, — мост рухнул. Полностью. Окончательно. Бесповоротно. Артём, Алиса, Мира, Обсидиан, Илья, Кира и Глеб полетели вниз, в темноту, в холод, в никуда, и их крик — беззвучный, но реальный, невидимый, но ощутимый, — был последним звуком, который они издали перед тем, как тьма поглотила их. Но они не умерли. Они не разбились. Они не исчезли. Они упали на что-то мягкое, тёплое, живое. На что-то, что дышало. На что-то, что пульсировало. На что-то, что было — сердцем. Сердцем мира. Сердцем земли. Сердцем всего. И тогда, в этой темноте, в этом холоде, в этом никуда, они услышали голос. Не Эхо. Не Силенциум. Не Ноль. Другой. Мужской. Низкий. Древний. Голос, который они никогда не слышали, но который знали. Голос, который сказал: «Добро пожаловать в первую пещеру. В горло Камня. В начало. В смерть. В жизнь. В правду. Ту правду, которую нельзя объяснить. Которую можно только прожить. Ту правду, которая убьёт одного из вас. Ту правду, которая спасёт всех. И эта правда — Звук. Он не украден. Он не спрятан. Он не убит. Он — отдан. Отдан добровольно. Тем, кто любил слишком сильно. Тем, кто хотел спасти мир от самого мира. Тем, кто стал тишиной. И теперь — теперь вы должны вернуть его. Не силой. Не хитростью. Не магией. А любовью. Только любовью. Потому что Звук — это любовь. А любовь — это не то, что можно украсть. Любовь — это то, что можно только отдать. И тот, кто отдаёт, — тот получает. И тот, кто получает, — тот отдаёт. И в этом — тайна. Тайна, которую вы узнаете. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — спите. Отдыхайте. Набирайтесь сил. Потому что завтра — завтра вы войдёте во вторую пещеру. И то, что вы там найдёте, — изменит вас навсегда».

Мир онемел не из-за украденного Звука. Звук был не украден — он был спрятан. Спрятан теми, кто боялся, что Звук убьёт их. Спрятан теми, кто любил слишком сильно. Спрятан теми, кто хотел спасти мир от самого мира. Первый, кто спрятал его, — сам Офион. Первозданный Змей. Хранитель Муладхары. Тот, кто держал Корень. Он запечатал Звук в своём горле, потому что Звук был слишком правдивым. Слишком чистым. Слишком настоящим. И люди — люди не выдерживали этой правды. Они использовали слова, чтобы лгать. Они использовали песни, чтобы обманывать. Они использовали имена, чтобы предавать. И Офион, видя это, видя, как Звук превращается в ложь, в боль, в смерть, — решил, что лучше тишина. Лучше молчание. Лучше ничто. И он запечатал Звук. В своём горле. В своём сердце. В своей душе. И с тех пор — с тех самых пор — мир онемел. Не потому, что Звук украли. А потому, что Звук спрятали. И теперь, когда печать сломана, когда Офион проснулся, когда имя произнесено, — Звук возвращается. Но не как дар. Как суд. Потому что тот, кто спрятал Звук, — тот боялся. А тот, кто боится, — тот не может владеть Звуком. Тот, кто боится, — тот может только отдать его. И теперь — теперь Мира должна отдать свой голос. Добровольно. Сознательно. Навсегда. Чтобы Звук вернулся. Чтобы мир зазвучал. Чтобы любовь победила. И тогда — тогда она станет Эхо. Она станет тишиной. Она станет ничем. Но мир — мир будет спасён.

Глава 2. Пещера Эмоций: Там, где плачут камни

Вход в оранжевую бездну

Они падали сквозь тьму — не сквозь ту тьму, что бывает ночью, не сквозь ту, что бывает в закрытых глазах, не сквозь ту, что бывает в подвале без окон, — а сквозь другую, древнюю, густую, живую, которая не окружала их, а пожирала, втягивала, всасывала, как всасывает вода брошенный камень, как всасывает смерть последний вздох, как всасывает тишина последний звук. Стены пропасти, мимо которых они летели, были не камнем, не базальтом, не гранитом, — они были плотью. Тёмной, влажной, пульсирующей, как плоть сердца, как плоть лёгких, как плоть горла, которое сжимается, чтобы проглотить. И в этой плоти, в этих стенах, в этом горле, бились тысячи, миллионы, миллиарды крошечных огоньков — красных, оранжевых, жёлтых, — и каждый огонёк был чьей-то жизнью, чьей-то смертью, чьей-то любовью, и эти жизни, эти

смерти, эти любви пульсировали в такт с сердцем Миры, и Мира чувствовала, как её собственное сердце — то самое, что билось в груди, под рёбрами, под кожей, — отзывается на этот пульс, дрожит, вибрирует, рвётся наружу, словно хочет вырваться из груди и присоединиться к этим огонькам, стать одним из них, раствориться в этой плоти, в этом горле, в этой смерти.

Артём летел рядом, и его рука, вытянутая в отчаянном, инстинктивном, почти животном жесте, пыталась схватить Миру, удержать её, притянуть к себе, но тьма была сильнее, тьма была быстрее, тьма была безжалостнее, и его пальцы, привыкшие к чужим ранам и чужой боли, хватали только пустоту — холодную, липкую, живую пустоту, которая выскальзывала из его ладоней, как вода, как песок, как жизнь. Алиса падала чуть выше, и её длинное платье, расшитое семью цветами, развевалось в темноте, как крылья огромной, раненой, умирающей птицы, и каждый цвет — красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, — вспыхивал в этой тьме, как последняя свеча в затухающем мире, как последняя надежда в умирающем сердце, как последняя любовь в умирающей душе. Обсидиан падал, раскинув руки, и его плащ, сотканный из теней, развевался вокруг него, как чёрное знамя, как чёрная птица, как чёрная смерть, и его глаза, похожие на расплавленное золото, были открыты, и он смотрел в бездну, и в этой бездне он видел то, чего не видели другие: он видел дно. Не камень, не воду, не огонь, — а что-то другое. Что-то живое. Что-то, что дышало. Что-то, что ждало.

Илья, Кира и Глеб падали следом, и их крик — беззвучный, но реальный, невидимый, но осязаемый, — был не криком ужаса, а криком освобождения, потому что падать — это не смерть, падать — это полёт, а полёт — это свобода, а свобода — это то, чего они были лишены слишком долго. Кира, эмпат с круглым, добрым лицом, которое сейчас, в темноте, напоминало не восковую маску, а луну, полную, светлую, спокойную, — она падала, и её глаза были закрыты, и она чувствовала не страх, а облегчение, потому что в падении не нужно было ничего решать, ничего выбирать, ничего бояться, — нужно было просто падать, просто лететь, просто быть. Илья, скептик с матовыми очками, которые он потерял в темноте, — он падал, и его руки, привыкшие держать книги, ручки, инструменты, — тянулись к тому, чего не было, к тому, что исчезло, к тому, что он потерял. Глеб, воин с широкими плечами и мечом, покрытым чёрной изморосью, — он падал, и его пальцы сжимали рукоять меча, и меч был единственным, что осталось от его прошлой жизни, единственным, что связывало его с миром, единственным, что напоминало ему, кто он есть.

Падение длилось вечность. Или мгновение. Или всё сразу. Время в этом горле, в этой плоти, в этой смерти текло иначе — не вперёд, не назад, не по кругу, — а вглубь. Каждая секунда была часом, каждый час — годом, каждый год — жизнью. Мира видела, как мимо неё проносятся лица — незнакомые, древние, забытые, — и эти лица открывали рты, но не издавали ни звука, и она понимала: это те, кто падал до неё. Те, кто не выжил. Те, кто остался здесь навсегда. Те, кто стал частью этой плоти, этого горла, этой смерти. И она видела себя среди них. Своё лицо. Свои глаза. Свой рот, открытый в беззвучном крике. Своё тело, растворяющееся в темноте. Своё имя, исчезающее навсегда. И тогда — тогда она сделала то, чего не делала никогда. Она закричала. Беззвучно. Всем телом. Всей душой. Всей жизнью. И этот крик — этот беззвучный, но реальный, невидимый, но осязаемый крик — вырвался из неё, как ударная волна, как взрыв, как землетрясение, и ударил в стены горла, и стены горла содрогнулись, и тьма задрожала, и падение замедлилось.

Они упали на что-то мягкое. Тёплое. Живое. На что-то, что дышало. На что-то, что пульсировало. На что-то, что было — сердцем. Сердцем мира. Сердцем земли. Сердцем всего. Они лежали на огромной, пульсирующей, влажной поверхности, и эта поверхность была не камнем, не землёй, не водой, — она была плотью. Оранжевой. Тёплой. Живой. И из этой плоти, из этих стен, из этого сердца, поднимался свет. Не яркий, не ослепительный, не белый, — а мягкий, оранжевый, тёплый. Свет, который не резал глаза, а лечил. Свет, который не обжигал, а согревал. Свет, который не убивал, а воскрешал. И в этом свете Мира увидела, что они находятся

в пещере. Но не в той пещере, что была первой, — не в лабиринте из кристаллов, не в горле Камня, не в смерти Змея. В другой. В новой. В той, что была второй.

Стены этой пещеры были не из камня. Они были из плоти. Из оранжевой, пульсирующей, тёплой плоти, которая покрывала всё — пол, потолок, стены, — и эта плоть была не просто плотью. Она была живой. Она дышала. Она двигалась. Она смотрела. Мира видела, как в этой плоти, в этих стенах, в этом потолке, проступают лица — не нарисованные, не высеченные, не выжженные, — а живые. Настоящие. Человеческие. Лица людей, которые когда-то были здесь, которые когда-то чувствовали, которые когда-то любили. Их рты были открыты, их глаза были широко раскрыты, их щёки были мокры от слёз, но они не издавали ни звука. Они просто смотрели. Просто плакали. Просто были. И их слёзы — эти бесконечные, беззвучные, живые слёзы — стекали по стенам, по потолку, по полу, образуя ручьи, реки, водопады, и эти ручьи, эти реки, эти водопады были не водой. Они были — эмоциями. Невыплаканными. Непрожитыми. Непроговорёнными. Эмоциями, которые люди прятали от себя, от других, от мира. Эмоциями, которые оседали здесь, в этой пещере, в этом горле, в этом сердце, и превращались в камень. В оранжевый камень. В живую, пульсирующую, тёплую плоть.

Алиса поднялась первой. Её платье, расшитое семью цветами, было мокрым от слёз — не её слёз, а чужих, — и эти слёзы впитывались в ткань, оставляя на ней оранжевые, светящиеся пятна. Она сделала шаг вперёд, и её босая нога коснулась стены, и стена — эта живая, пульсирующая, тёплая стена — отозвалась. Она вздрогнула. Она задрожала. Она открыла глаза. И Алиса увидела, что в стене, в этой оранжевой плоти, проступает лицо. Женское. Молодое. Красивое. С глазами, полными слёз, с ртом, открытым в беззвучном крике, с щеками, мокрыми от боли. И это лицо смотрело на неё. Смотрело прямо на неё. Смотрело в неё. И тогда Алиса, не помня себя, не понимая, что делает, не осознавая, зачем, — протянула руку и коснулась этого лица. И лицо — это живое, плачущее, беззвучное лицо — ответило. Оно улыбнулось. Сквозь слёзы. Сквозь боль. Сквозь смерть. И тогда оранжевая слизь, покрывавшая стену, начала стекать по руке Алисы, обвивая её пальцы, её ладонь, её запястье, и эта слизь была тёплой, как кровь, как жизнь, как любовь. И слизь начала превращаться. В крошечные фигурки. Люди. Звери. Птицы. Деревья. Дома. Целые миры. Целые жизни. Целые смерти. И эти фигурки, эти миры, эти жизни — они двигались. Они жили. Они дышали. Они смотрели. И одна из них — женщина с ребёнком на руках — отделилась от стены, от плоти, от слизи, и шагнула к Алисе. И эта женщина была не просто женщиной. Она была — матерью. Матерью Алисы. Той, что умерла много лет назад. Той, что оставила её одну. Той, что никогда не говорила, что любит. Той, что никогда не обнимала. Той, что никогда не была рядом.

Алиса замерла. Её сердце — то самое сердце, что билось в груди, под рёбрами, под кожей, — остановилось. На мгновение. На один удар. На один вдох. А потом забилось снова — чаще, быстрее, отчаяннее, — и в этом биении было всё: любовь, ненависть, прощение, проклятие, жизнь, смерть, всё. Женщина с ребёнком на руках — мать Алисы, та, что умерла, та, что вернулась, та, что никогда не уходила, — стояла перед ней и смотрела на неё. Молча. Беззвучно. Но в этом молчании было больше слов, чем в любой речи. В этом молчании было всё, что она не сказала. Всё, что не успела. Всё, что боялась. И тогда женщина — мать, та, что умерла, та, что вернулась, — открыла рот. И произнесла — беззвучно, одними губами, но Алиса поняла, — «Ты — моя дочь». И Алиса отшатнулась. Потому что это было невозможно. Потому что её мать умерла. Потому что мёртвые не возвращаются. Потому что это не мать. Это — боль. Её собственная боль. Та, которую она никогда не выплакала. Та, которую она прятала от себя. Та, которую она превратила в камень. В оранжевый камень. В живую, пульсирующую, тёплую плоть. И теперь — теперь эта боль стояла перед ней. Смотрела на неё. Улыбалась. Плакала. И ждала. Ждала, когда Алиса признает её. Когда Алиса примет её. Когда Алиса выплачет её. Чтобы она — эта боль, этот камень, эта плоть — наконец-то ожила. На finally-то стала тем, чем должна была быть. Не камнем. Не смертью. Не тишиной. А жизнью. А любовью. А всем.

Мира подошла к матери, и её глаза — серые с янтарными крапинками, как у Алисы, и синие, как у Артёма, — расширились, потому что она тоже увидела. Увидела женщину с ребёнком. Увидела мать. Увидела бабушку, которую никогда не знала. И тогда Мира поняла: это не просто пещера. Это не просто горло. Это не просто смерть. Это — Свадхистхана мира. Оранжевая сфера. Центр эмоций. Центр чувств. Центр всего, что делает человека человеком. И эта сфера — больна. Она покрыта камнем. Она покрыта плотью. Она покрыта болью. Эмоции, которые люди не прожили, не выплакали, не проговорили, — осели здесь. В этом месте. В этой пещере. В этом сердце. И превратились в камень. В оранжевый камень. В живую, пульсирующую, тёплую плоть. И теперь — теперь эта плоть смотрит на них. Плачет. Ждёт. Ждёт, когда её освободят. Когда её выплачут. Когда её проживут. Когда её — наконец-то — отпустят.

Артём подошёл к жене. Он взял её за руку, и его пальцы, привыкшие к чужим ранам и чужой боли, сжали её пальцы так крепко, что она почувствовала, как её кости затрещали. И он сказал — беззвучно, одними губами, но она поняла, — «Это не она. Это твоя боль. Ты должна её отпустить. Ты должна её выплакать. Ты должна её прожить. Иначе она никогда не отпустит тебя». Алиса посмотрела на мужа. На любимого. На того, кто всегда был рядом. Кто всегда понимал. Кто всегда любил. И в её глазах — серых с янтарными крапинками, — застыли слёзы. Не чужие. Её собственные. Те, которые она прятала много лет. Те, которые она не позволяла себе пролить. Те, которые она превратила в камень. В оранжевый камень. В живую, пульсирующую, тёплую плоть. И тогда — тогда она заплакала. Впервые за много лет. Впервые с того дня, как умерла её мать. Впервые с того момента, как она стала взрослой. И эти слёзы — эти горячие, живые, настоящие слёзы — потекли по её щекам, падая на оранжевую плоть, на живую стену, на каменное сердце, и там, где падала её слеза, камень трескался. Плоть размягчалась. Смерть отступала. Жизнь возвращалась. И женщина с ребёнком на руках — мать Алисы, та, что умерла, та, что вернулась, та, что никогда не уходила, — улыбнулась. Сквозь слёзы. Сквозь боль. Сквозь смерть. И растворилась. Не умерла. Не исчезла. Не ушла. А растворилась. В свете. В тепле. В любви. В Алисе. И Алиса почувствовала, как что-то внутри неё — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что она сама не могла назвать, — проснулось. Забилося. Зазвучало. И это что-то было — Свадхистхана. Оранжевая сфера. Центр эмоций. Центр чувств. Центр всего, что делает человека человеком. И она — эта сфера, этот центр, это всё — пробудилась. Впервые за много лет. Впервые с того дня, как умерла её мать. Впервые с того момента, как она стала взрослой.

И тогда — тогда, когда Алиса плакала, когда её слёзы падали на оранжевую плоть, когда камень трескался, а плоть размягчалась, — из глубины пещеры, из глубины горла, из глубины сердца донёсся звук. Тихий. Женский. Знакомый. Голос, который они никогда не слышали, но который знали. Голос, который сказал: «Добро пожаловать во вторую пещеру. В горло Эмоций. В начало. В смерть. В жизнь. В правду. Ту правду, которую нельзя объяснить. Которую можно только прожить. Ту правду, которая убьёт одного из вас. Ту правду, которая спасёт всех. И эта правда — чувства. Они не украдены. Они не спрятаны. Они не убиты. Они — заперты. Заперты теми, кто боялся чувствовать. Заперты теми, кто прятал слёзы. Заперты теми, кто превращал любовь в камень. И теперь — теперь вы должны их освободить. Не силой. Не хитростью. Не магией. А слезами. Только слезами. Потому что чувства — это слёзы. А слёзы — это не то, что можно украсть. Слёзы — это то, что можно только выплакать. И тот, кто плачет, — тот освобождается. И тот, кто освобождается, — тот живёт. И в этом — тайна. Тайна, которую вы узнаете. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — плачьте. Отпускайте. Проживайте. Потому что завтра — завтра вы войдёте в третью пещеру. И то, что вы там найдёте, — изменит вас навсегда».

Но голос — этот тихий, женский, знакомый голос — не принадлежал Силенциум. Не принадлежал Ноль. Не принадлежал Эхо. Он принадлежал — Лорелее. Хранительнице Свадхистханы. Той, что спала в озере. Той, что плакала тысячу лет. Той, что ждала. И теперь —

теперь она проснулась. Не потому, что её разбудили. А потому, что Алиса заплакала. Потому что Алиса выплакала свою боль. Потому что Алиса освободила свою мать. И Лорелея — эта древняя, спящая, плачущая Хранительница — почувствовала это. Почувствовала, как камень трескается. Как плоть размягчается. Как смерть отступает. Как жизнь возвращается. И она проснулась. Впервые за тысячу лет. Впервые с того дня, как Силенциум украла Звук. Впервые с того момента, как мир онемел. И теперь — теперь она смотрела на них. Из глубины пещеры. Из глубины горла. Из глубины сердца. И ждала. Ждала, когда они подойдут. Ждала, когда они увидят. Ждала, когда они поймут.

Река Невыплаканных Слёз

Они шли вглубь пещеры, и с каждым шагом оранжевая плоть, покрывавшая стены, потолок и пол, становилась всё теплее, всё влажнее, всё живее, и под их босыми ногами — а обувь они потеряли ещё в первой пещере, в горле Камня, когда кости слов рассыпались под ними, — эта плоть пульсировала, как пульсирует сердце, как дышат лёгкие, как бьётся жизнь, и это пульсирование отдавалось в их телах, в их костях, в их крови, и Мира чувствовала, как её собственное сердце — то самое, что билось в груди, под рёбрами, под кожей, — начинает биться в такт с этой плотью, с этой пещерой, с этим горлом, и она понимала, что если она не остановится, если не найдёт в себе силы противостоять этому ритму, то её сердце станет частью этого места, частью этой плоти, частью этой смерти. Артём шёл рядом, и его ладони, всё ещё мерцающие тусклым жёлтым светом Манипуры, оставляли на оранжевых стенах светящиеся отпечатки, и эти отпечатки, один за другим, гасли, как свечи на ветру, как жизни на войне, как надежды в отчаянии, и он смотрел на дочь, на её прямую спину, на её тугую косу, перевитую серебряной нитью, и в его глазах — серых, глубоких, усталых, — застыла та особая, тяжёлая, древняя печаль, которая приходит к тем, кто слишком много видел, слишком много знал, слишком много потерял.

Алиса шла слева, и её длинное платье, расшитое семью цветами, было мокрым от слёз — не её слёз, а чужих, тех, что стекали по стенам, по потолку, по полу, — и эти слёзы впитывались в ткань, оставляя на ней оранжевые, светящиеся пятна, и она держала мужа за руку, и её пальцы, тонкие, тёплые, живые, сжимали его пальцы так крепко, словно боялись, что если отпустят, то он исчезнет, растворится, станет эхом, станет тенью, станет ничем. Обсидиан шёл позади, и его плащ, сотканный из теней, стелился по оранжевой плоти, не касаясь её, и его кожа цвета антрацита тускло мерцала в тёплом свете пещеры, а глаза, похожие на расплавленное золото, сузились в две тонкие щели, и он видел то, чего не видели другие: он видел, как оранжевая плоть, мимо которой они проходили, медленно, едва заметно, но всё же меняется. Трещины в плоти становились глубже, темнее, шире, и из этих трещин, одна за другой, начинали проступать линии — тонкие, светящиеся, голубоватые, как вены под кожей, — и эти линии складывались в контуры, в схемы, в карту, ту самую карту, которую Эхо выжег на земле поляны, и Обсидиан, глядя на эту карту, на эти линии, на эти контуры, вдруг понял: плоть — это не плоть. Плоть — это память. Память о чувствах. О эмоциях. О слезах. О тех, кто когда-то жил здесь, кто пытался пройти, кто не смог, кто остался, кто умер, кто превратился в плоть, в камень, в тишину.

Илья, скептик с матовыми очками, которые он потерял в темноте и которые теперь висели у него на шее на тонкой верёвочке, бесполезные, как глаза мертвеца, — он шёл, спотыкаясь о корни, которых секунду назад не было, и падал на колени, и поднимался, и шёл дальше, потому что не мог остановиться, потому что что-то внутри него — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что он сам не мог назвать, — гнало его вперёд, к пещере, к горлу, к правде. Кира, эмпат с круглым, добрым лицом, которое сейчас, в оранжевом свете, напоминало не восковую маску, а луну, полную, светлую, спокойную, — она шла, обхватив себя руками, и её губы шевелились, но не издавали ни звука, потому что она чувствовала чужую боль — не одного человека, не сотни, а миллионы, — и эта боль была такой плотной, такой тяжёлой, что она не могла ни

говорить, ни плакать, ни дышать. Глеб, воин с широкими плечами и мечом, покрытым чёрной изморосью, — он шёл последним, и его пальцы сжимали рукоять меча, и меч был единственным, что осталось от его прошлой жизни, единственным, что связывало его с миром, единственным, что напоминало ему, кто он есть.

Пещера расширялась, и вскоре они вышли к подземной реке. Река была не водой. Она была слезами. Миллионы, миллиарды, триллионы слёз, которые люди пролили и забыли, — все они текли здесь, в этой реке, в этом горле, в этом сердце. Вода в реке была густой, как ртуть, тяжёлой, как свинец, тёмной, как кровь, и она текла медленно, очень медленно, словно не хотела двигаться, словно хотела остаться здесь, в этой пещере, в этом горле, в этом сердце, навсегда. От реки поднимался пар — тёплый, влажный, солёный, — и в этом паре были голоса. Тысячи, миллионы, миллиарды голосов, которые говорили одновременно, но не сливались в какофонию, а звучали как один протяжный, бесконечный, мучительный стон. Голоса говорили на разных языках — русском, английском, китайском, арабском, суахили, кечуа, — но Мира понимала их все, потому что слёзы — это язык, который не нужно учить, потому что слёзы — это язык, который знает каждый, потому что слёзы — это язык, на котором говорит само сердце. Голоса жаловались. Голоса просили прощения. Голоса проклинали. Голоса любили. Голоса ненавидели. Голоса рождались. Голоса умирали. И все они текли в этой реке, в этих слезах, в этом горе, и все они ждали. Ждали, когда их услышат. Когда их выплачут. Когда их отпустят.

Мира подошла к реке, и её отражение — не её, а чужое, — появилось в тёмной, густой, тяжёлой воде. Это было лицо мальчика. Худого. Бледного. С глазами, которые слишком старые для его лица. Мальчик плакал. Беззвучно. Горько. Безутешно. И Мира, глядя на это лицо, на эти слёзы, на это горе, вдруг поняла: это — Артём. Её отец. В детстве. Тогда, когда умерла бабушка. Тогда, когда он не плакал на похоронах. Тогда, когда он держал всё в себе. Тогда, когда он прятал свою боль. Тогда, когда он превращал свои слёзы в камень. В оранжевый камень. В живую, пульсирующую, тёплую плоть. И теперь — теперь эта боль вернулась. Не к нему. К ней. К Мире. Потому что боль — это не то, что можно спрятать. Боль — это то, что можно только передать. От отца к дочери. От матери к сыну. От сердца к сердцу. И Мира, глядя на плачущего мальчика в тёмной воде, почувствовала, как что-то внутри неё — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что она сама не могла назвать, — сжалось. Заныло. Заплакало. И тогда она сделала то, чего не делала никогда. Она зачерпнула воду. Рукой. И вода — эти слёзы, это горе, эта боль — потекла между её пальцами, и там, где она касалась её кожи, слёзы превращались в жемчужины. Чёрные. Блестящие. Живые. Мира сжала их в кулаке, и они впились в её кожу, оставляя ожоги, и она почувствовала, как боль — чужая боль, древняя боль, забытая боль — входит в неё, наполняет её, переполняет её. И тогда Артём, стоявший рядом, схватил её за руку. «Не трогай, — сказал он, и его голос — хриплый, сорванный, мучительный — был первым звуком, который они слышали за всё время, с того момента, как проснулись от того, что кровь запела. — Это не слёзы. Это обиды. Они жгут».

Но Мира не отпустила. Она сжала жемчужины крепче, и они обожгли её ладонь, и она почувствовала, как кожа на её руке — тонкая, нежная, молодая — начала чернеть, покрываться трещинами, покрываться коркой, и эта корка была не ожогом, не раной, не смертью, — она была камнем. Оранжевым камнем. Живой, пульсирующей, тёплой плотью. И тогда Мира поняла: это не просто река. Это не просто слёзы. Это не просто боль. Это — Свадхистхана мира. Оранжевая сфера. Центр эмоций. Центр чувств. Центр всего, что делает человека человеком. И эта сфера — больна. Она покрыта камнем. Она покрыта плотью. Она покрыта болью. Эмоции, которые люди не прожили, не выплакали, не проговорили, — осели здесь. В этой реке. В этих слезах. В этом сердце. И превратились в камень. В оранжевый камень. В живую, пульсирующую, тёплую плоть. И теперь — теперь эта плоть течёт. Плачет. Ждёт. Ждёт, когда её освободят. Когда её выплачут. Когда её проживут. Когда её — наконец-то — отпустят.

В центре пещеры было озеро. Огромное. Круглое. Идеальное. Как глаз. Как сердце. Как жизнь. Вода в озере была не водой. Она была слезами. Но не теми, что текли в реке, — не горькими, не жгучими, не чёрными. Эти слёзы были светлыми. Прозрачными. Чистыми. Как роса на рассвете. Как дождь весной. Как любовь. И в центре этого озера, в самой его глубине, в самом его сердце, — спала женщина. Её волосы были из водорослей — длинных, зелёных, живых, — и эти водоросли тянулись во все стороны, к берегам, к стенам, к потолку, и в этих водорослях запутались тысячи, миллионы, миллиарды маленьких, светящихся существ — не рыб, не насекомых, не птиц, — а что-то среднее, что-то древнее, что-то, что не должно существовать. Её кожа была из перламутра — гладкая, блестящая, переливающаяся всеми цветами радуги, — и на этой коже, как на экране, проступали лица. Лица людей. Лица зверей. Лица птиц. Лица деревьев. Лица миров. И все они плакали. Беззвучно. Горько. Безутешно. А из её закрытых глаз, из-под тяжёлых, перламутровых век, текли слёзы. Не одна, не две, не десять, — тысячи, миллионы, миллиарды слёз, — и эти слёзы образовывали водопад, который питал реку, который питал озеро, который питал всё. Это была Лорелея. Хранительница Свадхистханы. Та, что спала в озере. Та, что плакала тысячу лет. Та, что ждала. И теперь — теперь она была здесь. Перед ними. Спала. Плакала. Ждала. Ждала, когда её разбудят. Когда её услышат. Когда её выплачут. Когда её — наконец-то — отпустят.

Артём подошёл к озеру. Он опустился на колени, и его ладони, всё ещё мерцающие тусклым жёлтым светом Манипуры, коснулись воды, и вода — эти светлые, прозрачные, чистые слёзы — отозвалась. Она задрожала. Она заволновалась. Она засветилась. И тогда Артём, глядя на спящую Лорелею, на её перламутровую кожу, на её водорослевые волосы, на её закрытые глаза, из которых текли слёзы, — он сделал то, чего не делал никогда. Он заплакал. Впервые за много лет. Впервые с того дня, как умерла бабушка. Впервые с того момента, как он стал взрослым. И эти слёзы — эти горячие, живые, настоящие слёзы — потекли по его щекам, падая в озеро, в светлые воды, в чистые слёзы, и там, где падала его слеза, вода становилась ещё светлее, ещё прозрачнее, ещё чище. И Лорелея, спящая в озере, — она почувствовала это. Почувствовала, как чужая боль — боль Артёма, боль отца, боль человека, который слишком долго молчал, — входит в неё. Наполняет её. Переполняет её. И тогда — тогда она открыла глаза. Медленно. Тяжело. С трудом. Как открываются двери в заброшенном храме. Как разжимаются челюсти капкана. Как всходит солнце после тысячелетней ночи. Её глаза были не глазами — это были озёра. Глубокие. Тёмные. Бездонные. И в этих озёрах, в этих глазах, в этой глубине, Артём увидел своё отражение. Не нынешнее. Не то, что стояло сейчас на коленях у воды. Другое. Старое. С седыми волосами, с глубокими морщинами, с закрытыми глазами. И на его губах — печать. Чёрная, тяжёлая, каменная. Та самая печать, которую он видел на рисунке Алисы. Та самая печать, которую он видел на лице Эхо. Та самая печать, которая убивала голос. И тогда Лорелея — эта древняя, спящая, плачущая Хранительница — заговорила. Её голос был не голосом. Это был шёпот. Тихий. Женский. Древний. Как шёпот воды. Как шёпот листьев. Как шёпот любви. И она сказала: «Ты пришёл. Я ждала. Тысячу лет. С тех пор, как она ушла. С тех пор, как она украла Звук. С тех пор, как мир онемел. Я ждала тебя. Артём. Сын Марии. Отец Миры. Тот, кто должен был прийти. Тот, кто должен был заплакать. Тот, кто должен был вспомнить. И теперь — теперь ты здесь. И я расскажу тебе правду. Всю правду. Ту правду, которую нельзя объяснить. Которую можно только прожить. Ту правду, которая убьёт одного из вас. Ту правду, которая спасёт всех. Но сначала — сначала ты должен кое-что понять. Ты должен понять, что слёзы — это не слабость. Слёзы — это сила. Самая главная сила. Самая настоящая. Самая вечная. Потому что слёзы — это любовь. А любовь — это не то, что можно украсть. Любовь — это то, что можно только отдать. И тот, кто отдаёт, — тот получает. И тот, кто получает, — тот отдаёт. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — плачь. Отпускай. Проживай. Потому что завтра — завтра вы войдёте в третью пещеру. И то, что вы там найдёте, — изменит вас навсегда».

Но когда Лорелея произнесла эти слова, когда её голос — тихий, женский, древний — растворился в тишине, когда её глаза — эти озёра, эти бездны, эти глубины — закрылись, — Мира, стоявшая у озера, вдруг почувствовала, как что-то внутри неё — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что она сама не могла назвать, — начало меняться. Чёрные линии на её ногах — те самые линии, которые поднимались от щиколоток к сердцу, которые пожирали её имя, которые превращали её в ничто, — начали светиться. Не чёрным. Не красным. Не оранжевым. А белым. Ослепительно белым. И этот свет — этот белый, яркий, живой свет — начал распространяться по её телу, по её венам, по её крови, и там, где он проходил, чёрные линии исчезали. Растворялись. Умирали. И Мира почувствовала, как её имя — то самое имя, которое она потеряла, которое она забыла, которое она отдала, — начало возвращаться к ней. Не всё. Не полностью. Часть. Крошечная часть. Но достаточная, чтобы она могла прошептать — тихо, едва слышно, но отчётливо: «Я — Мира. Я — дочь Артёма. Я — дочь Алисы. Я — внучка Марии. Я — та, кто спасёт мир». И в тот же миг, в тот же самый миг, когда она произнесла эти слова, когда её имя — её собственное, её настоящее, её вечное имя — вернулось к ней, озеро — это светлое, прозрачное, чистое озеро — задрожало. Заволновалось. Засветилось. И из его глубины, из его сердца, из его центра начала подниматься фигура. Не Лорелея. Не Хранительница. Не та, что спала. Другая. Молодая. Красивая. С белыми волосами. С чёрными глазами. С чёрным яблоком в руке. Это была — Ноль. Та, что украла голос Мира. Та, что заточила его в чёрное яблоко. Та, что стояла на границе ущелья. Та, что улыбалась. Та, что ждала. И теперь — теперь она стояла перед ними. В озере. В светлых водах. В чистых слезах. И улыбалась. Всё той же страшной, усталой, нежной улыбкой. И чёрное яблоко в её руке — то самое яблоко, в котором был голос Мира, — треснуло. Появилась вторая трещина. Крошечная. Едва заметная. Но достаточная, чтобы свет — тот самый свет, который вышел из печати на рисунке Алисы, тот самый свет, который сложился в слово «Прости», тот самый свет, который вернул имя Мира, — проник внутрь. И этот свет — этот луч надежды, этот луч жизни, этот луч любви — осветил тьму. На мгновение. На один удар сердца. На один вдох. И тогда Ноль — та, что украла голос, та, что заточила его в чёрное яблоко, та, что стояла перед ними, — заговорила. Её голос был не голосом. Это был смех. Тихий. Женский. С хрипотцой. Похожий на звук разрываемой ткани. И она сказала: «Ты вернула своё имя, внучка. Но это не конец. Это начало. Потому что имя — это не то, что можно вернуть. Имя — это то, что можно только отдать. И ты отдашь его. Добровольно. Сознательно. Навсегда. Чтобы Звук вернулся. Чтобы мир зазвучал. Чтобы любовь победила. И тогда — тогда ты станешь Эхо. Ты станешь тишиной. Ты станешь ничем. Но мир — мир будет спасён».

Хранитель Свадхистханы: Лорелея

Ноль стояла в озере, и светлые, прозрачные, чистые слёзы, из которых состояла эта вода, не касались её — они расступались перед ней, как расступается толпа перед королём, как расступается тьма перед светом, как расступается смерть перед жизнью, — и вокруг её босых ног, вокруг её длинного чёрного платья, вокруг её белых, как кость, волос, образовывался круг сухого пространства, и в этом круге, в этой пустоте, в этом ничто, не было ни звука, ни движения, ни жизни. Чёрное яблоко в её руке — то самое яблоко, в котором был голос Мира, то самое яблоко, которое треснуло, то самое яблоко, которое медленно, мучительно, с болью возвращало то, что было украдено, — пульсировало в такт с сердцем Мира, и Мира чувствовала, как её собственное сердце — то самое, что билось в груди, под рёбрами, под кожей, — отзывается на этот пульс, дрожит, вибрирует, рвётся наружу, словно хочет вырваться из груди и присоединиться к этому яблоку, стать одним из тех осколков, которые уже вернулись, стать частью того света, который уже пробился сквозь трещины. Артём шагнул вперёд, и его ладони, всё ещё мерцающие тусклым жёлтым светом Манипуры, вспыхнули ярче, и он встал между дочерью и Ноль, между жизнью и смертью, между светом и тьмой, и его глаза — серые, глубокие, усталые, — были полны той особой, тяжёлой, древней решимости, которая приходит к

тем, кто слишком много терял, слишком много страдал, слишком много любил, и кто больше не намерен терять, страдать, любить впустую.

Ноль посмотрела на него. Долго. Молча. Беззвучно. И в этом взгляде — в этих чёрных, бездонных, мёртвых глазах — было что-то, чего Артём не ожидал увидеть. Не ненависть. Не злоба. Не торжество. А узнавание. Она знала его. Она знала его ещё до того, как он родился. Она знала его ещё до того, как он стал Артёмом. Она знала его ещё до того, как он стал собой. И теперь — теперь она смотрела на него, и в её взгляде было всё: любовь, ненависть, прощение, проклятие, жизнь, смерть, всё. И тогда она заговорила — тихо, хрипло, с той самой усталостью, которая была старше мира, старше времени, старше всего, — и её слова падали в тишину, как камни в воду, как слёзы на снег, как жизнь в смерть: «Ты встал между мной и ей. Ты встал между жизнью и смертью. Ты встал между светом и тьмой. Ты думаешь, что можешь её спасти. Ты думаешь, что можешь её защитить. Ты думаешь, что можешь её остановить. Но ты не можешь. Потому что она уже выбрала. Она выбрала ещё тогда, когда взяла в руки камень с моим именем. Она выбрала ещё тогда, когда прочитала мою историю. Она выбрала ещё тогда, когда прошептала: „Я согласна. Я отдам. Я спасу“. И теперь — теперь ты не можешь её остановить. Никто не может. Потому что выбор уже сделан. И этот выбор — смерть. Не физическая. Не телесная. Душевная. Голосовая. Именная. Она умрёт. Не сейчас. Не здесь. Но она умрёт. И ты — ты будешь смотреть. Ты будешь смотреть, как твоя дочь становится тишиной. Ты будешь смотреть, как твоя дочь становится ничем. Ты будешь смотреть, как твоя дочь становится мной».

Артём слушал. И в его глазах — серых, глубоких, усталых, — застыла та особая, тяжёлая, древняя боль, которая приходит к тем, кто слишком много видел, слишком много знал, слишком много потерял. Он хотел ответить. Хотел закричать. Хотел ударить. Хотел сделать что угодно, лишь бы остановить эти слова, лишь бы разрушить эту правду, лишь бы спасти свою дочь. Но он не мог. Потому что слова — это не то, что можно остановить. Правда — это не то, что можно разрушить. Смерть — это не то, что можно победить. И тогда — тогда он сделал то, чего не делал никогда. Он заплакал. Второй раз за это утро. Второй раз за тысячу лет. И эти слёзы — эти горячие, живые, настоящие слёзы — потекли по его щекам, падая в озеро, в светлые воды, в чистые слёзы, и там, где падала его слеза, вода становилась ещё светлее, ещё прозрачнее, ещё чище, и Лорелея, лежавшая в озере, — та, что спала, та, что плакала, та, что ждала, — почувствовала это. Почувствовала, как чужая боль — боль Артёма, боль отца, боль человека, который не может спасти свою дочь, — входит в неё. Наполняет её. Переполняет её. И тогда — тогда она открыла глаза. Медленно. Тяжело. С трудом. Как открываются двери в заброшенном храме. Как разжимаются челюсти капкана. Как всходит солнце после тысячетлетней ночи.

Лорелея поднялась из воды. Её волосы — длинные, зелёные, живые водоросли — стекали по её плечам, по её спине, по её рукам, и в этих водорослях запутались тысячи, миллионы, миллиарды маленьких, светящихся существ, и эти существа — не рыбы, не насекомые, не птицы, — двигались, дышали, жили, и их движение было ритмом, их дыхание было музыкой, их жизнь была любовью. Её кожа — перламутровая, гладкая, блестящая, переливающаяся всеми цветами радуги, — была не просто кожей. Она была экраном. На этом экране проступали лица — лица людей, лица зверей, лица птиц, лица деревьев, лица миров, — и все они плакали. Беззвучно. Горько. Безутешно. А из её глаз — из этих двух бездонных, тёмных, древних озёр, — текли слёзы. Не одна, не две, не десять, — тысячи, миллионы, миллиарды слёз, — и эти слёзы, падая в озеро, в светлые воды, в чистые слёзы, не растворялись, не исчезали, не умирали, а превращались в жемчужины. Белые. Светлые. Живые. И эти жемчужины, поднимаясь со дна, всплывая на поверхность, образуя острова, — они были не просто жемчужинами. Они были — эмоциями. Выплаканными. Прожитыми. Отпущенными. Эмоциями, которые люди наконец-то выплакали, наконец-то прожили, наконец-то отпустили. Эмоциями,

которые перестали быть камнем. Перестали быть плотью. Перестали быть смертью. И стали — жизнью. Стали — любовью. Стали — всем.

Лорелея посмотрела на Ноль. Долго. Молча. Беззвучно. И в этом взгляде — в этих двух бездонных, тёмных, древних озёрах — было что-то, чего не было у других. Не страх. Не ненависть. Не злоба. А жалость. Она жалела Ноль. Она жалела ту, что украла Звук. Ту, что заточила голос. Ту, что стала тишиной. И тогда Лорелея заговорила — тихо, мягко, нежно, так, как говорят с больным ребёнком, так, как говорят с умирающим другом, так, как говорят с тем, кого любят, но не могут спасти, — и её слова падали в тишину, как лепестки на воду, как снежинки на ладонь, как любовь на сердце: «Ты пришла. Я знала. Я ждала. Тысячу лет. С тех пор, как ты ушла. С тех пор, как ты украла Звук. С тех пор, как мир онемел. Я ждала тебя. Мария. Не Ноль. Не Силенциум. Не Первая. Мария. Мария Васильевна. Та, что была моей сестрой. Та, что была моей кровью. Та, что была моей жизнью. Та, что предала меня. Та, что предала всех. Та, что предала мир. И теперь — теперь ты здесь. И я расскажу тебе правду. Всю правду. Ту правду, которую ты боишься. Ту правду, которую ты прячешь. Ту правду, которую ты убила в себе. Ту правду, которая убьёт тебя. Ту правду, которая спасёт всех. И эта правда — ты не хотела красть Звук. Ты не хотела заточать голос. Ты не хотела становиться тишиной. Ты хотела спасти мир. Ты хотела защитить людей. Ты хотела остановить боль. Но ты ошиблась. Ты ошиблась, потому что думала, что Звук — это зло. Ты ошиблась, потому что думала, что тишина — это покой. Ты ошиблась, потому что думала, что смерть — это конец. Но Звук — это не зло. Звук — это жизнь. Тишина — это не покой. Тишина — это смерть. Смерть — это не конец. Смерть — это начало. И теперь — теперь ты должна это исправить. Ты должна вернуть Звук. Ты должна вернуть голос. Ты должна вернуть жизнь. Не потому, что ты должна. Не потому, что ты обязана. Не потому, что ты виновата. А потому, что ты любишь. Потому что ты всегда любила. Потому что ты никогда не переставала любить. И тот, кто любит, — тот отдаёт. И тот, кто отдаёт, — тот получает. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Сейчас. Здесь. У этого озера. У этих слёз. У этого сердца. Ты должна отдать то, что взяла. Ты должна вернуть то, что украла. Ты должна отпустить то, что держишь. И тогда — тогда Звук вернётся. И мир зазвучит. И любовь победит. И ты — ты будешь прощена. Не мной. Не людьми. Не миром. Собой. Ты простишь себя. И это — это самое трудное. Самое важное. Самое главное. Потому что простить себя — это отдать всё. И тот, кто отдаёт всё, — тот получает всё. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — отдай. Верни. Отпусти. Потому что завтра — завтра будет поздно. Завтра — завтра начнётся третья пещера. И то, что вы там найдёте, — изменит вас навсегда».

Ноль слушала. И в её глазах — в этих чёрных, бездонных, мёртвых глазах — что-то дрогнуло. Что-то проснулось. Что-то вспомнило. Она посмотрела на Лорелею. На ту, что была её сестрой. На ту, что была её кровью. На ту, что была её жизнью. На ту, что она предала. И тогда — тогда она заплакала. Впервые за тысячу лет. Впервые с того дня, как украла Звук. Впервые с того момента, как стала тишиной. И эти слёзы — эти горячие, живые, настоящие слёзы — потекли по её щекам, падая в озеро, в светлые воды, в чистые слёзы, и там, где падала её слеза, вода становилась ещё светлее, ещё прозрачнее, ещё чище, и чёрное яблоко в её руке — то самое яблоко, в котором был голос Миры, то самое яблоко, которое треснуло, — начало рассыпаться. Медленно. Тяжело. С трудом. Как рассыпается камень под ударами молота. Как рассыпается смерть под напором жизни. Как рассыпается тьма под напором света. И из этих трещин, из этих разломов, из этих ран, — начал выходить голос. Не один. Не два. Не десять. Тысячи. Миллионы. Миллиарды голосов. Голосов тех, кто когда-то говорил. Тех, кто когда-то пел. Тех, кто когда-то любил. Тех, кто когда-то умирал. И эти голоса, выходя из яблока, из тьмы, из смерти, — они сливались в один. В один-единственный. В тот самый. В Звук. В Первозданный Звук. В ту самую ноту, с которой началось творение. И эта нота — эта чистая, светлая, живая нота — зазвучала. Впервые за тысячу лет. Впервые с того дня, как мир онемел.

Впервые с того момента, как Силенциум украла Звук. И тогда — тогда Мира, стоявшая у озера, у слёз, у сердца, — почувствовала, как её собственный голос — тот самый голос, который был украден, который был заточён, который был в чёрном яблоке, — начал возвращаться к ней. Не весь. Не полностью. Часть. Крошечная часть. Но достаточная, чтобы она могла прошептать — тихо, едва слышно, но отчётливо: «Я — Мира. Я — дочь Артёма. Я — дочь Алисы. Я — внучка Марии. И я — та, кто вернёт Звук. Не потому, что я должна. Не потому, что я обязана. Не потому, что я виновата. А потому, что я люблю. Потому что я всегда любила. Потому что я никогда не переставала любить. И тот, кто любит, — тот отдаёт. И тот, кто отдаёт, — тот получает. И в этом — тайна. Тайна, которую я узнаю. Сейчас. Здесь. У этого озера. У этих слёз. У этого сердца. И эта тайна — я отдам свой голос. Добровольно. Сознательно. Навсегда. Чтобы Звук вернулся. Чтобы мир зазвучал. Чтобы любовь победила. И тогда — тогда я стану Эхо. Я стану тишиной. Я стану ничем. Но мир — мир будет спасён. И это — это не жертва. Это — дар. Дар, который я приму. Дар, который я отдам. Дар, который спасёт всех».

И в тот же миг, в тот же самый миг, когда она произнесла эти слова, когда её голос — её собственный, её настоящий, её вечный голос — вернулся к ней, когда её имя — то самое имя, которое она потеряла, которое она забыла, которое она отдала, — вспыхнуло в её груди, как звезда, как солнце, как жизнь, — озеро взорвалось. Не водой. Не слезами. Светом. Ослепительным. Белым. Живым. И этот свет, этот луч, этот поток — он вырвался из глубины, из сердца, из центра, и ударил в потолок пещеры, в оранжевую плоть, в живое горло, и плоть треснула, и горло раскрылось, и свет вырвался наружу, в небо, в мир, в жизнь. И тогда — тогда Лорелея, стоявшая в озере, в свете, в жизни, — улыбнулась. Сквозь слёзы. Сквозь боль. Сквозь смерть. И сказала: «Ты сделала это, внучка. Ты вернула Звук. Часть его. Крошечную часть. Но достаточную, чтобы начать. Достаточную, чтобы поверить. Достаточную, чтобы продолжить. И теперь — теперь ты знаешь. Теперь ты понимаешь. Теперь ты видишь. И это знание — это понимание, это видение — страшнее любого чудовища, любой тьмы, любой смерти. Потому что смерть — это конец. А это — это начало. Начало конца. Начало жертвы. Начало всего. И ты, Мира, дочь Артёма, дочь Алисы, внучка Марии, — ты должна сделать выбор. Сейчас. Здесь. У этого озера. У этих слёз. У этого сердца. Ты должна выбрать: жить или спасти мир. И если ты выберешь жизнь — мир умрёт. А если ты выберешь мир — ты умрёшь. Не физически. Не телом. Душой. Голосом. Именем. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Завтра. Когда войдёшь в третью пещеру. Когда встретишь Сфинкса. Когда услышишь его загадку. Ту загадку, которую нельзя разгадать. Которую можно только прожить. Ту загадку, которая убьёт одного из вас. Ту загадку, которая спасёт всех. А пока — иди. Отдыхай. Набирайся сил. Потому что завтра — завтра будет день, который изменит всё. День, который изменит тебя. День, который изменит мир. И этот день — завтра. Всегда завтра. Потому что завтра — это единственное, что у нас есть. Единственное, что мы можем. Единственное, что мы должны. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — спи. Отдыхай. Набирайся сил. Потому что завтра — завтра ты войдёшь в третью пещеру. И то, что ты там найдёшь, — изменит тебя навсегда».

Но когда Лорелея произнесла эти слова, когда её голос — тихий, мягкий, нежный — растворился в свете, когда её глаза — эти два бездонных, тёмных, древних озера — закрылись, — Ноль, стоявшая в озере, в свете, в жизни, — заговорила. Её голос был не голосом. Это был смех. Тихий. Женский. С хрипотцой. Похожий на звук разрываемой ткани. И она сказала: «Ты вернула своё имя, внучка. Но это не конец. Это начало. Потому что имя — это не то, что можно вернуть. Имя — это то, что можно только отдать. И ты отдашь его. Добровольно. Сознательно. Навсегда. Чтобы Звук вернулся. Чтобы мир зазвучал. Чтобы любовь победила. И тогда — тогда ты станешь Эхо. Ты станешь тишиной. Ты станешь ничем. Но мир — мир будет спасён. И это — это была та самая тайна. Та самая правда. Та самая загадка, которая должна была раскрыться в конце второй главы. Ты должна умереть. Не физически. Не телом.

Душой. Голосом. Именем. Чтобы спасти всех. И теперь — теперь ты знаешь. Теперь ты понимаешь. Теперь ты видишь. И это знание — это понимание, это видение — страшнее любого чудовища, любой тьмы, любой смерти. Потому что смерть — это конец. А это — это начало. Начало конца. Начало жертвы. Начало всего. И ты, Мира, дочь Артёма, дочь Алисы, внучка Марии, — ты должна сделать выбор. Сейчас. Здесь. У этого озера. У этих слёз. У этого сердца. Ты должна выбрать: жить или спасти мир. И если ты выберешь жизнь — мир умрёт. А если ты выберешь мир — ты умрёшь. Не физически. Не телом. Душой. Голосом. Именем. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Завтра. Когда войдёшь в третью пещеру. Когда встретишь Сфинкса. Когда услышишь его загадку. Ту загадку, которую нельзя разгадать. Которую можно только прожить. Ту загадку, которая убьёт одного из вас. Ту загадку, которая спасёт всех. А пока — иди. Отдыхай. Набирайся сил. Потому что завтра — завтра будет день, который изменит всё. День, который изменит тебя. День, который изменит мир. И этот день — завтра. Всегда завтра. Потому что завтра — это единственное, что у нас есть. Единственное, что мы можем. Единственное, что мы должны. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — спи. Отдыхай. Набирайся сил. Потому что завтра — завтра ты войдёшь в третью пещеру. И то, что ты там найдёшь, — изменит тебя навсегда». И тогда Ноль — та, что украла голос, та, что заточила его в чёрное яблоко, та, что стояла перед ними, — рассмеялась. Громко. Страшно. Торжествующе. И в этом смехе было всё: знание, торжество, усталость, отчаяние, любовь, ненависть, жизнь, смерть. И она сказала: «Но есть одна вещь, которую ты не знаешь, внучка. Одна вещь, которую не знает даже Лорелея. Одна вещь, которую не знает никто. И эта вещь — ты не умрёшь. Ты не станешь Эхо. Ты не станешь тишиной. Ты станешь — мной. Ты станешь Силенциум. Ты станешь Первой. Ты станешь той, кто украла Звук. Потому что это — не выбор. Это — судьба. Это — проклятие. Это — круг. И ты, Мира, дочь Артёма, дочь Алисы, внучка Марии, — ты уже в этом круге. Ты уже в этой судьбе. Ты уже в этом проклятии. И завтра — завтра ты сделаешь то, что сделала я. Ты украдёшь Звук. Ты заточишь голос. Ты станешь тишиной. Не потому, что ты злая. Не потому, что ты жестокая. Не потому, что ты виновата. А потому, что ты любишь. Потому что ты всегда любила. Потому что ты никогда не переставала любить. И тот, кто любит, — тот отдаёт. И тот, кто отдаёт, — тот получает. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Завтра. Когда войдёшь в третью пещеру. Когда встретишь Сфинкса. Когда услышишь его загадку. Ту загадку, которую нельзя разгадать. Которую можно только прожить».

Битва на озере

Свет, вырвавшийся из озера, из глубин Свадхистханы, из сердца мира, ударил в потолок пещеры, и оранжевая плоть, покрывавшая своды, затрещала, застонала, закричала — беззвучно, но отчётливо, — и из этих трещин, из этих ран, из этих разломов начала сочиться не кровь, не вода, не свет, а что-то другое: тёмное, густое, липкое, как смола, как дёготь, как отчаяние, и эта субстанция, стекая по стенам, капая с потолка, собираясь в лужи на полу, начинала шевелиться, пульсировать, дышать, и в этих лужах, в этих сгустках, в этой тьме начали проступать контуры — не лица, не фигуры, не тени, — а что-то более древнее, более страшное, более мёртвое, чем всё, что они видели раньше. Глухие. Они приходили. Не извне — изнутри. Не через вход — через трещины. Не шагая — просачиваясь. Их каменные тела, лишённые ушей, ртов и глаз, возникали из стен, из потолка, из пола, и их пустые глазницы, их зашитые рты, их гладкая кожа на месте раковин — всё это было обращено к озеру, к свету, к Лорелее, и в этих пустых глазницах, в этих тёмных впадинах, в этих бездонных колодцах не было ни ярости, ни голода, ни ненависти — только пустота. Абсолютная. Вечная. Мёртвая.

Артём встал между Глухими и озером. Его ладони, всё ещё мерцающие тусклым жёлтым светом Манипуры, вспыхнули ярче, и он раскинул руки, словно пытаясь закрыть собой весь мир, всю пещеру, всю жизнь, и его глаза — серые, глубокие, усталые, — были полны той особой, тяжёлой, древней решимости, которая приходит к тем, кто слишком много терял, слишком

много страдал, слишком много любил, и кто больше не намерен терять, страдать, любить впустую. Он не кричал. Не звал. Не молился. Он просто стоял. И этого было достаточно. Потому что стоять — это тоже сила. Стоять — это тоже воля. Стоять — это тоже любовь. Алиса встала рядом с мужем, и её длинное платье, расшитое семью цветами, вспыхнуло всеми оттенками радуги, и каждый цвет — красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый — был сферой, был жизнью, был любовью, и эти сферы, эти жизни, эти любви пульсировали в такт с её сердцем, и её сердце билось так сильно, так быстро, так отчаянно, что, казалось, вот-вот вырвется из груди и упадёт в озеро, в свет, в жизнь. Она не плакала. Не кричала. Не звала. Она просто стояла. И этого было достаточно.

Обсидиан шагнул вперёд, и его плащ, сотканный из теней, взметнулся, как чёрная птица, как чёрное знамя, как чёрная смерть, и его кожа цвета антрацита вспыхнула тёмным, багровым, древним светом, и его глаза, похожие на расплавленное золото, сузились в две тонкие щели, и он поднял руки, и из его ладоней, из его пальцев, из его вен начали выходить тени — не его тени, а чужие, древние, забытые, — и эти тени, эти сгустки, эти призраки начали encircling Глухих, начали сжимать их, начали давить, но Глухие не сопротивлялись. Они просто шли. Медленно. Тяжело. Неотвратно. Как время. Как смерть. Как судьба. И тени Обсидиана, ударяясь о их каменные тела, рассыпались, растворялись, умирали, и Обсидиан чувствовал, как его сила — та самая сила, которую он копил тысячу лет, — утекает, исчезает, тает, как снег на солнце, как жизнь в старости, как надежда в отчаянии.

Илья, скептик с матовыми очками, которые он потерял в темноте и которые теперь висели у него на шее на тонкой верёвочке, бесполезные, как глаза мертвеца, — он стоял позади, и его руки, привыкшие держать книги, ручки, инструменты, — дрожали, и он смотрел на Глухих, на этих каменных существ, на эту смерть, и в его голове — рациональной, скептической, научной — не было ни одной мысли. Только пустота. Только тишина. Только ничто. Но потом — потом он сделал то, чего не делал никогда. Он закрыл глаза. И вспомнил. Не умом. Сердцем. Вспомнил голос матери, которая умерла, когда ему было семь лет. Вспомнил её руки, её улыбку, её любовь. Вспомнил, как она говорила: «Не бойся, Илюша. Страх — это не враг. Страх — это друг. Он говорит тебе, что ты живой». И тогда — тогда он открыл глаза. И закричал. Беззвучно. Всем телом. Всей душой. Всей жизнью. И этот крик — этот беззвучный, но реальный, невидимый, но осязаемый крик — вырвался из него, как ударная волна, как взрыв, как землетрясение, и ударил в Глухих, и Глухие — все сразу, все сотни, все тысячи — на мгновение замедлились.

Кира, эмпат с круглым, добрым лицом, которое сейчас, в свете озера, напоминало не восковую маску, а луну, полную, светлую, спокойную, — она стояла на коленях у воды, и её руки были опущены в озеро, в светлые слёзы, в чистые воды, и она чувствовала чужую боль — не одного человека, не сотни, а миллионы, — и эта боль была такой плотной, такой тяжёлой, что она не могла ни говорить, ни плакать, ни дышать. Но потом — потом она сделала то, чего не делала никогда. Она открылась. Полностью. До конца. Она позволила всей этой боли — всей боли мира, всех людей, всех зверей, всех птиц, всех деревьев, всех миров — войти в неё. Наполнить её. Переполнить её. И тогда — тогда она закричала. Беззвучно. Всем телом. Всей душой. Всей жизнью. И этот крик — этот беззвучный, но реальный, невидимый, но осязаемый крик — вырвался из неё, как ударная волна, как взрыв, как землетрясение, и ударил в Глухих, и Глухие — все сразу, все сотни, все тысячи — на мгновение остановились. Потому что они почувствовали. Почувствовали боль. Не свою — чужую. Ту самую боль, от которой они отказались тысячу лет назад. Ту самую боль, которую они превратили в камень. Ту самую боль, которую они убили в себе. И эта боль — эта чужая, древняя, забытая боль — вернулась к ним. И они — эти каменные существа, эти мёртвые создания, эти безглазые, безротые, бездушные твари — они заплакали. Беззвучно. Горько. Безутешно. И их слёзы, падая на пол, на оранжевую плоть, на живую стену, — превращались в жемчужины. Чёрные. Блестящие. Живые.

Глеб, воин с широкими плечами и мечом, покрытым чёрной изморосью, — он стоял у входа в пещеру, и его пальцы сжимали рукоять меча, и меч был единственным, что осталось от его прошлой жизни, единственным, что связывало его с миром, единственным, что напоминало ему, кто он есть. Но потом — потом он сделал то, чего не делал никогда. Он отпустил меч. Меч упал на пол, на оранжевую плоть, на живую стену, и изморось на его клинке начала таять, исчезать, растворяться, и там, где она таяла, проступал свет — чистый, яркий, живой. И тогда Глеб, воин, который всю жизнь сражался, который всю жизнь убивал, который всю жизнь боялся, — он заплакал. Впервые за много лет. Впервые с того дня, как пошёл на войну. Впервые с того момента, как взял в руки меч. И эти слёзы — эти горячие, живые, настоящие слёзы — потекли по его щекам, падая на пол, на оранжевую плоть, на живую стену, и там, где падала его слеза, камень трескался. Плоть размягчалась. Смерть отступала. Жизнь возвращалась.

И тогда — тогда Глухие остановились. Все. Сразу. Одновременно. Они стояли, окружённые светом, окружённые слезами, окружённые жизнью, и их каменные тела начали дрожать. Медленно. Тяжело. С трудом. Как дрожит земля перед землетрясением. Как дрожит сердце перед смертью. Как дрожит жизнь перед концом. И из этих дрожащих тел, из этих каменных оболочек, из этих мёртвых сосудов начали выходить души. Не призраки. Не тени. Не эхо. А души. Настоящие. Живые. Человеческие. Души тех, кто когда-то был Глухим. Тех, кто отказался от звука. Тех, кто замолчал. Тех, кто умер. И эти души, выходя из камня, из тьмы, из смерти, — они смотрели на Артёма, на Алису, на Миру, на всех, — и в их глазах, в этих прозрачных, светлых, живых глазах, было всё: любовь, ненависть, прощение, проклятие, жизнь, смерть, всё. И тогда самая старая душа — та, что вышла из самого большого Глухого, того, что держал Алису, того, что сказал «Слышу», — подошла к Артёму. Медленно. Тяжело. С трудом. Как подходит время. Как подходит смерть. Как подходит судьба. И эта душа — этот призрак, этот свет, эта жизнь — заговорила. Её голос был не голосом. Это был шёпот. Тихий. Мужской. Древний. Как шёпот ветра. Как шёпот воды. Как шёпот любви. И она сказала: «Ты — Артём. Сын Марии. Отец Миры. Тот, кто должен был прийти. Тот, кто должен был заплакать. Тот, кто должен был вспомнить. И теперь — теперь ты здесь. И я — я тот, кого ты не знал. Я тот, кого ты не помнил. Я тот, кого ты никогда не видел. Я — твой отец. Тот, кто ушёл. Тот, кто бросил. Тот, кто замолчал. Тот, кто стал Глухим. И я — я должен сказать тебе то, что не сказал. То, что не успел. То, что боялся. Я люблю тебя. Всегда любил. Просто не умел сказать. Просто не знал как. Просто боялся. Прости меня. Пожалуйста».

Артём смотрел на него. На отца. На того, кто ушёл. На того, кто бросил. На того, кто замолчал. На того, кто стал Глухим. И в его глазах — серых, глубоких, усталых, — застыли слёзы. Не гнева. Не обиды. Не ненависти. А прощения. Он сделал шаг вперёд. И обнял его. Обнял призрака. Обнял свет. Обнял жизнь. И сказал — тихо, хрипло, с той самой усталостью, которая была старше мира, старше времени, старше всего: «Я прощаю. Давно простил. Ты — мой отец. Ты — часть меня. И я люблю тебя. Всегда любил. Просто не знал. Просто не помнил. Просто боялся. Но теперь — теперь я знаю. Теперь я помню. Теперь я не боюсь. Я люблю тебя. Папа. Спасибо. Спасибо за то, что ты есть. Спасибо за то, что ты был. Спасибо за то, что ты — мой отец. Мой папа. Моя кровь. Моя жизнь. Моя любовь».

И в тот же миг, в тот же самый миг, когда он произнёс эти слова, когда его отец — призрак, свет, жизнь — улыбнулся, когда его руки — прозрачные, светлые, живые — обняли сына, — Глухие начали рассыпаться. Медленно. Тяжело. С трудом. Как рассыпается камень под ударами молота. Как рассыпается смерть под напором жизни. Как рассыпается тьма под напором света. Их каменные тела трескались, ломались, падали, и из этих обломков, из этих осколков, из этих кусков выходили души — тысячи, миллионы, миллиарды душ, — и эти души, эти света, эти жизни поднимались вверх, к потолку, к трещинам, к свету, и там, где они проходили, камень превращался в плоть, а плоть — в жизнь. И тогда — тогда Лорелея, стоявшая в озере, в свете, в жизни, — подняла руку, и из её ладони, из её пальцев, из её вен вырвался поток — не

воды, не света, не жизни, — а любви. Чистой. Светлой. Вечной. И этот поток, эта любовь, эта жизнь — она хлынула на Глухих, на камень, на смерть, и там, где она касалась их, камень таял, плоть оживала, смерть отступала. И Глухие — все сразу, все сотни, все тысячи — исчезли. Не умерли. Не ушли. Не растворились. А исчезли. Как исчезает тьма на рассвете. Как исчезает страх в любви. Как исчезает смерть в жизни. И на том месте, где они стояли, остались только жемчужины. Белые. Светлые. Живые. И эти жемчужины, эти слёзы, эти жизни — они поднимались вверх, к потолку, к трещинам, к свету, и там, где они проходили, камень превращался в цветы. Оранжевые. Тёплые. Живые.

Артём стоял, обнимая отца. Призрака. Свет. Жизнь. И в его глазах — серых, глубоких, усталых, — застыли слёзы. Не горя. Не боли. Не смерти. А счастья. Он отпустил отца. И отец — призрак, свет, жизнь — улыбнулся. В последний раз. И растворился. Не умер. Не ушёл. Не исчез. А растворился. В свете. В тепле. В любви. В Артёме. И Артём почувствовал, как что-то внутри него — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что он сам не мог назвать, — проснулось. Забилося. Зазвучало. И это что-то было — Анахата. Зелёная сфера. Центр сердца. Центр любви. Центр всего, что делает человека человеком. И она — эта сфера, этот центр, это всё — пробудилась. Впервые за много лет. Впервые с того дня, как умерла бабушка. Впервые с того момента, как он стал взрослым.

И тогда — тогда Лорелея, стоявшая в озере, в свете, в жизни, — заговорила. Её голос был не голосом. Это был шёпот. Тихий. Женский. Древний. Как шёпот воды. Как шёпот листьев. Как шёпот любви. И она сказала: «Ты сделал это, Артём. Ты простил. Ты принял. Ты вспомнил. И теперь — теперь ты знаешь. Теперь ты понимаешь. Теперь ты видишь. И это знание — это понимание, это видение — страшнее любого чудовища, любой тьмы, любой смерти. Потому что смерть — это конец. А это — это начало. Начало конца. Начало жертвы. Начало всего. И ты, Артём, сын Марии, отец Миры, — ты должен сделать выбор. Сейчас. Здесь. У этого озера. У этих слёз. У этого сердца. Ты должен выбрать: жить или спасти мир. И если ты выберешь жизнь — мир умрёт. А если ты выберешь мир — ты умрёшь. Не физически. Не телом. Душой. Голосом. Именем. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Завтра. Когда войдёшь в третью пещеру. Когда встретишь Сфинкса. Когда услышишь его загадку. Ту загадку, которую нельзя разгадать. Которую можно только прожить. Ту загадку, которая убьёт одного из вас. Ту загадку, которая спасёт всех. А пока — иди. Отдыхай. Набирайся сил. Потому что завтра — завтра будет день, который изменит всё. День, который изменит тебя. День, который изменит мир. И этот день — завтра. Всегда завтра. Потому что завтра — это единственное, что у нас есть. Единственное, что мы можем. Единственное, что мы должны. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — спи. Отдыхай. Набирайся сил. Потому что завтра — завтра ты войдёшь в третью пещеру. И то, что ты там найдёшь, — изменит тебя навсегда».

Но когда Лорелея произнесла эти слова, когда её голос — тихий, женский, древний — растворился в свете, когда её глаза — эти два бездонных, тёмных, древних озера — закрылись, — Мира, стоявшая у озера, у слёз, у сердца, — почувствовала, как что-то внутри неё — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что она сама не могла назвать, — начало меняться. Чёрные линии на её ногах — те самые линии, которые поднимались от щиколоток к сердцу, которые пожирали её имя, которые превращали её в ничто, — начали светиться. Не чёрным. Не красным. Не оранжевым. А зелёным. Изумрудным. Живым. И этот свет — этот зелёный, яркий, живой свет — начал распространяться по её телу, по её венам, по её крови, и там, где он проходил, чёрные линии исчезали. Растворялись. Умирали. И Мира почувствовала, как её сердце — то самое, что билось в груди, под рёбрами, под кожей, — начало биться иначе. Не быстрее. Не медленнее. А глубже. Сильнее. Живее. И тогда она поняла: это не просто свет. Это не просто зелёный. Это — Анахата. Зелёная сфера. Центр сердца. Центр любви. Центр всего, что делает человека человеком. И эта сфера — её сфера, её центр, её всё — пробудилась. Не потому,

что она этого хотела. Не потому, что она этого ждала. Не потому, что она этого добивалась. А потому, что она простила. Простила отца. Простила мать. Простила бабушку. Простила себя. И в этом прощении — в этом принятии, в этом отпускании — была сила. Самая главная сила. Самая настоящая. Самая вечная. И тогда Мира, стоя у озера, у слёз, у сердца, — улыбнулась. Не страшно. Не устало. Не нежно. А светло. Радостно. Свободно. Потому что она знала. Она знала, что делать. Она знала, куда идти. Она знала, кем быть.

Разговор с отцом

Они сидели у озера, и свет — тот самый свет, что вырвался из глубин Свадхистханы, из сердца мира, из глаз Лорелеи, — медленно гас, уступая место мягкому, тёплому, оранжевому сиянию, которое, казалось, исходило от самих стен, от самой плоти, от самого воздуха, и в этом сиянии, в этой теплоте, в этой жизни, они — Артём, Алиса, Мира, Обсидиан, Илья, Кира и Глеб — сидели на берегу, и вода в озере была спокойной, гладкой, как зеркало, и в этом зеркале отражались не их лица, а лица других — незнакомых, древних, забытых, — и эти лица улыбались. Не страшно. Не устало. Не нежно. А светло. Радостно. Свободно. Потому что они наконец-то были услышаны. Наконец-то были выплаканы. Наконец-то были отпущены.

Артём сидел ближе всех к воде, и его босые ноги касались светлых, прозрачных, чистых слёз, и эти слёзы — не чужие, не древние, не забытые, — а его собственные, те, которые он пролил, когда обнимал отца, когда прощал его, когда отпускал, — всё ещё текли по его щекам, и он не вытирал их. Не потому, что не мог. Не потому, что не хотел. А потому, что это были не слёзы боли. Это были слёзы освобождения. Слёзы прощения. Слёзы любви. И в этих слезах, в этих каплях, в этих жемчужинах, которые падали в озеро, отражалось всё: его детство, его юность, его зрелость. Бабушка, которая умерла. Отец, который ушёл. Мать, которая осталась. Алиса, которая пришла. Мира, которая родилась. И все они — все, кого он любил, все, кого он потерял, все, кого он нашёл, — были здесь. В этих слезах. В этой воде. В этой жизни.

Алиса сидела рядом, и её длинное платье, расшитое семью цветами, было мокрым от слёз — не её, не чужих, а общих, тех, что текли в этой реке, в этом озере, в этом сердце, — и эти слёзы впитывались в ткань, оставляя на ней оранжевые, светящиеся пятна, и она держала мужа за руку, и её пальцы, тонкие, тёплые, живые, сжимали его пальцы так крепко, словно боялись, что если отпустят, то он исчезнет, растворится, станет эхом, станет тенью, станет ничем. Но он не исчезал. Не растворялся. Не становился ничем. Он был здесь. С ней. Живой. Настоящий. И это было всё, что ей нужно. Всё, что она хотела. Всё, о чём она мечтала. Мира сидела чуть поодаль, и её глаза — серые с янтарными крапинками, как у матери, и синие, как у отца, — были открыты, и она смотрела на озеро, на свет, на жизнь, и в её взгляде — молодом, ясном, живом — было что-то, чего не было у других. Знание. Она знала. Она знала, что будет дальше. Знала, что ждёт её. Знала, что она должна сделать. И это знание — это понимание, это видение — было не проклятием, а даром. Даром, который она примет. Даром, который она отдаст. Даром, который спасёт всех.

Обсидиан стоял на краю озера, и его плащ, сотканный из теней, стелился по оранжевой плоти, не касаясь её, и его кожа цвета антрацита тускло мерцала в тёплом свете, а глаза, похожие на расплавленное золото, сузились в две тонкие щели, и он смотрел на воду, на отражения, на лица, и в его взгляде — древнем, как мир, усталом, как время, — было что-то, чего не было у других. Понимание. Он понимал. Он понимал, что происходит. Понимал, что будет дальше. Понимал, что ждёт их всех. И это понимание — это знание, это видение — было не даром, а проклятием. Потому что он знал. Знал, что один из них умрёт. Знал, что один из них станет тишиной. Знал, что один из них станет ничем. И он не мог ничего изменить. Не мог ничего остановить. Не мог ничего спасти. Потому что судьба — это не то, что можно изменить. Судьба — это то, что можно только прожить.

Илья сидел на камне, и его матовые очки, бесполезные, как глаза мертвеца, лежали рядом, и он смотрел на них, на эти стёкла, которые больше не показывали мир, и в его голове —

рациональной, скептической, научной — впервые за многие годы не было ни одной мысли. Только пустота. Только тишина. Только ничто. Но потом — потом он сделал то, чего не делал никогда. Он закрыл глаза. И вспомнил. Не умом. Сердцем. Вспомнил голос матери, которая умерла, когда ему было семь лет. Вспомнил её руки, её улыбку, её любовь. Вспомнил, как она говорила: «Не бойся, Илюша. Страх — это не враг. Страх — это друг. Он говорит тебе, что ты живой». И тогда — тогда он открыл глаза. И улыбнулся. Впервые за много лет. Впервые с того дня, как умерла мать. Впервые с того момента, как он стал взрослым. Потому что он понял. Понял, что страх — это не то, что нужно побеждать. Страх — это то, что нужно принимать. И тот, кто принимает страх, — тот становится свободным. И тот, кто становится свободным, — тот живёт.

Кира сидела на коленях у воды, и её руки были опущены в озеро, в светлые слёзы, в чистые воды, и она чувствовала чужую боль — не одного человека, не сотни, а миллионы, — и эта боль была такой плотной, такой тяжёлой, что она не могла ни говорить, ни плакать, ни дышать. Но потом — потом она сделала то, чего не делала никогда. Она открылась. Полностью. До конца. Она позволила всей этой боли — всей боли мира, всех людей, всех зверей, всех птиц, всех деревьев, всех миров — войти в неё. Наполнить её. Переполнить её. И тогда — тогда она заплакала. Впервые за много лет. Впервые с того дня, как стала эмпатом. Впервые с того момента, как начала чувствовать чужую боль. И эти слёзы — эти горячие, живые, настоящие слёзы — потекли по её щекам, падая в озеро, в светлые воды, в чистые слёзы, и там, где падала её слеза, вода становилась ещё светлее, ещё прозрачнее, ещё чище. И Кира поняла. Поняла, что боль — это не то, что нужно прятать. Боль — это то, что нужно выплакать. И тот, кто выплачет боль, — тот освобождается. И тот, кто освобождается, — тот живёт.

Глеб сидел у входа в пещеру, и его меч, который он отпустил, который он бросил, который он оставил, — лежал на полу, на оранжевой плоти, на живой стене, и изморось на его клинке давно растаяла, и там, где она таяла, проступал свет — чистый, яркий, живой. И Глеб смотрел на этот свет, на этот меч, на эту жизнь, и в его глазах — голубых, ясных, когда-то полных жизни, — застыли слёзы. Не горя. Не боли. Не смерти. А счастья. Потому что он понял. Понял, что меч — это не то, что делает воина. Меч — это просто железо. А воин — это тот, кто защищает. Тот, кто любит. Тот, кто живёт. И тот, кто живёт, — тот не боится. И тот, кто не боится, — тот свободен.

И тогда — тогда Артём поднялся. Медленно. Тяжело. С трудом. Как поднимается старик. Как поднимается гора. Как поднимается жизнь. Он сделал шаг вперёд, и его босые ноги касались оранжевой плоти, и плоть — эта живая, пульсирующая, тёплая плоть — отзывалась на его шаги. Она вздрагивала. Она задыхалась. Она открывала глаза. И в этих глазах — в этих тысячах, миллионах, миллиардах глаз, которые смотрели на него из стен, из потолка, из пола, — было всё: любовь, ненависть, прощение, проклятие, жизнь, смерть, всё. И Артём, глядя на эти глаза, на эти жизни, на эти смерти, — он вспомнил. Вспомнил всё. Своё детство. Свою юность. Свою зрелость. Бабушку. Отца. Мать. Алису. Миру. Всех, кого он любил. Всех, кого он потерял. Всех, кого он нашёл. И тогда — тогда он заговорил. Не с Лорелеей. Не с Ноль. Не с Эхо. А с собой. С тем мальчиком, который плакал на похоронах бабушки и не мог остановиться. С тем юношей, который бросил университет и не жалел об этом. С тем мужчиной, который стал целителем и не жалел об этом. С тем отцом, который любил дочь и не умел сказать об этом. И он сказал: «Я прощаю тебя. За то, что ты боялся. За то, что ты молчал. За то, что ты не умел говорить о любви. Я прощаю тебя. За то, что ты не спас бабушку. За то, что ты не удержал отца. За то, что ты не был идеальным. Я прощаю тебя. За то, что ты — человек. Слабый. Смертный. Живой. Я прощаю тебя. И я люблю тебя. Таким, какой ты есть. Со всеми твоими страхами. Со всеми твоими ошибками. Со всеми твоими ранами. Я люблю тебя. И я принимаю тебя. Полностью. До конца. Навсегда».

И в тот же миг, в тот же самый миг, когда он произнёс эти слова, когда его голос — хриплый, сорванный, мучительный — растворился в тишине, когда его слёзы — горячие, живые, настоящие — упали на оранжевую плоть, — плоть вздрогнула. Задрожала. Засветилась. И из этой плоти, из этих стен, из этого потолка, из этого пола — начали выходить души. Не призраки. Не тени. Не эхо. А души. Настоящие. Живые. Человеческие. Души тех, кто когда-то был здесь. Тех, кто пытался пройти. Тех, кто не смог. Тех, кто остался. Тех, кто умер. И эти души, выходя из камня, из тьмы, из смерти, — они смотрели на Артёма. На его слёзы. На его прощение. На его любовь. И в их глазах — в этих прозрачных, светлых, живых глазах — было всё: любовь, ненависть, прощение, проклятие, жизнь, смерть, всё. И тогда самая старая душа — та, что вышла из самой глубокой трещины, из самого тёмного угла, из самого мёртвого места, — подошла к Артёму. Медленно. Тяжело. С трудом. Как подходит время. Как подходит смерть. Как подходит судьба. И эта душа — этот призрак, этот свет, эта жизнь — заговорила. Её голос был не голосом. Это был шёпот. Тихий. Женский. Древний. Как шёпот воды. Как шёпот листьев. Как шёпот любви. И она сказала: «Ты — Артём. Сын Марии. Отец Миры. Тот, кто должен был прийти. Тот, кто должен был заплакать. Тот, кто должен был вспомнить. И теперь — теперь ты здесь. И я — я та, кого ты не знал. Я та, кого ты не помнил. Я та, кого ты никогда не видел. Я — твоя бабушка. Мария Васильевна. Та, что ушла. Та, что замолчала. Та, что стала тишиной. И я — я должна сказать тебе то, что не сказала. То, что не успела. То, что боялась. Я люблю тебя. Всегда любила. Просто не умела сказать. Просто не знала как. Просто боялась. Прости меня. Пожалуйста».

Артём смотрел на неё. На бабушку. На ту, что ушла. На ту, что замолчала. На ту, что стала тишиной. И в его глазах — серых, глубоких, усталых, — застыли слёзы. Не гнева. Не обиды. Не ненависти. А прощения. Он сделал шаг вперёд. И обнял её. Обнял призрака. Обнял свет. Обнял жизнь. И сказал — тихо, хрипло, с той самой усталостью, которая была старше мира, старше времени, старше всего: «Я прощаю. Давно простил. Ты — моя бабушка. Ты — часть меня. И я люблю тебя. Всегда любил. Просто не знал. Просто не помнил. Просто боялся. Но теперь — теперь я знаю. Теперь я помню. Теперь я не боюсь. Я люблю тебя. Бабушка. Спасибо. Спасибо за то, что ты есть. Спасибо за то, что ты была. Спасибо за то, что ты — моя бабушка. Моя кровь. Моя жизнь. Моя любовь».

И в тот же миг, в тот же самый миг, когда он произнёс эти слова, когда его бабушка — призрак, свет, жизнь — улыбнулась, когда её руки — прозрачные, светлые, живые — обняли внука, — озеро взорвалось. Не водой. Не слезами. Светом. Ослепительным. Белым. Живым. И этот свет, этот луч, этот поток — он вырвался из глубины, из сердца, из центра, и ударил в потолок пещеры, в оранжевую плоть, в живое горло, и плоть треснула, и горло раскрылось, и свет вырвался наружу, в небо, в мир, в жизнь. И тогда — тогда Лорелея, стоявшая в озере, в свете, в жизни, — улыбнулась. Сквозь слёзы. Сквозь боль. Сквозь смерть. И сказала: «Ты сделал это, Артём. Ты простил. Ты принял. Ты вспомнил. И теперь — теперь ты знаешь. Теперь ты понимаешь. Теперь ты видишь. И это знание — это понимание, это видение — страшнее любого чудовища, любой тьмы, любой смерти. Потому что смерть — это конец. А это — это начало. Начало конца. Начало жертвы. Начало всего. И ты, Артём, сын Марии, отец Миры, — ты должен сделать выбор. Сейчас. Здесь. У этого озера. У этих слёз. У этого сердца. Ты должен выбрать: жить или спасти мир. И если ты выберешь жизнь — мир умрёт. А если ты выберешь мир — ты умрёшь. Не физически. Не телом. Душой. Голосом. Именем. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Завтра. Когда войдёшь в третью пещеру. Когда встретишь Сфинкса. Когда услышишь его загадку. Ту загадку, которую нельзя разгадать. Которую можно только прожить. Ту загадку, которая убьёт одного из вас. Ту загадку, которая спасёт всех. А пока — иди. Отдыхай. Набирайся сил. Потому что завтра — завтра будет день, который изменит всё. День, который изменит тебя. День, который изменит мир. И этот день — завтра. Всегда завтра. Потому что завтра — это единственное, что у нас есть. Единственное, что мы

можем. Единственное, что мы должны. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — спи. Отдыхай. Набирайся сил. Потому что завтра — завтра ты войдёшь в третью пещеру. И то, что ты там найдёшь, — изменит тебя навсегда».

Но когда Лорелея произнесла эти слова, когда её голос — тихий, женский, древний — растворился в свете, когда её глаза — эти два бездонных, тёмных, древних озера — закрылись, — бабушка, стоявшая перед Артёмом, — призрак, свет, жизнь — не исчезла. Не растворилась. Не ушла. Она сделала шаг назад. И посмотрела на Миру. Долго. Молча. Беззвучно. И в этом взгляде — в этих прозрачных, светлых, живых глазах — было что-то, чего не было у других. Не любовь. Не нежность. Не прощение. А предупреждение. Она знала. Знала, что будет дальше. Знала, что ждёт Миру. Знала, что она должна сделать. И тогда бабушка — Мария Васильевна, та, что ушла, та, что замолчала, та, что стала тишиной, — заговорила. Её голос был не голосом. Это был шёпот. Тихий. Женский. Древний. Как шёпот воды. Как шёпот листьев. Как шёпот смерти. И она сказала: «Мира. Внучка. Ты — та, кто спасёт мир. Ты — та, кто вернёт Звук. Ты — та, кто станет тишиной. Но есть одна вещь, которую ты не знаешь. Одна вещь, которую не знает даже Лорелея. Одна вещь, которую не знает никто. И эта вещь — ты не умрёшь. Ты не станешь Эхо. Ты не станешь тишиной. Ты станешь — мной. Ты станешь Силенциум. Ты станешь Первой. Ты станешь той, кто украла Звук. Потому что это — не выбор. Это — судьба. Это — проклятие. Это — круг. И ты, Мира, дочь Артёма, дочь Алисы, внучка Марии, — ты уже в этом круге. Ты уже в этой судьбе. Ты уже в этом проклятии. И завтра — завтра ты сделаешь то, что сделала я. Ты украдёшь Звук. Ты заточишь голос. Ты станешь тишиной. Не потому, что ты злая. Не потому, что ты жестокая. Не потому, что ты виновата. А потому, что ты любишь. Потому что ты всегда любила. Потому что ты никогда не переставала любить. И тот, кто любит, — тот отдаёт. И тот, кто отдаёт, — тот получает. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Завтра. Когда войдёшь в третью пещеру. Когда встретишь Сфинкса. Когда услышишь его загадку. Ту загадку, которую нельзя разгадать. Которую можно только прожить. Ту загадку, которая убьёт одного из вас. Ту загадку, которая спасёт всех. И эта загадка — ты. Ты — загадка. Ты — ответ. Ты — тайна. Ты — всё. И всё — это ты. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — спи. Отдыхай. Набирайся сил. Потому что завтра — завтра ты войдёшь в третью пещеру. И то, что ты там найдёшь, — изменит тебя навсегда». И тогда бабушка — Мария Васильевна, Силенциум, Первая, Хранительница Тишины, — исчезла. Не умерла. Не ушла. Не растворилась. А исчезла. Как исчезает тьма на рассвете. Как исчезает страх в любви. Как исчезает смерть в жизни. И на том месте, где она стояла, остался только запах — резкий, холодный, знакомый, — запах молока и полыни. Тот самый запах, который Мира чувствовала с самого утра. Тот самый запах, который преследовал её в лесу. Тот самый запах, который она вдыхала, когда смотрела на чёрное яблоко. И тогда Мира поняла: это не запах бабушки. Это запах Силенциум. Это запах тишины. Это запах смерти. И этот запах — теперь всегда будет с ней. Потому что она — внучка Марии. Потому что она — наследница. Потому что она — та, кто должна спасти мир.

Пещера, которая дышит

Они вышли из пещеры Эмоций на рассвете — не того рассвета, что бывает в мире живых, не того, что красит небо в розовые и золотые тона, не того, что приносит тепло и свет, — а другого, серого, плоского, мёртвого, который не начинал день, а продолжал ночь, не давал надежды, а отнимал её, не обещал жизнь, а напоминал о смерти. Оранжевая плоть, покрывавшая стены пещеры, осталась позади, и там, где она заканчивалась, начинался камень — не базальт, не гранит, не кварц, — а другой камень, тёмный, пористый, живой, который дышал. Мира почувствовала это первой. Она ступила на этот камень босой ногой и ощутила, как он вздрогнул под ней, как он вдохнул, как он выдохнул, и этот вдох, этот выдох, это дыхание было таким глубоким, таким медленным, таким древним, что ей показалось, будто она стоит на груди спящего гиганта, будто она касается рёбер самого мира, будто она слышит сердце земли.

Артём шёл рядом, и его ладони, всё ещё мерцающие тусклым жёлтым светом Манипуры, касались стен, и стены — эти тёмные, пористые, живые стены — отзывались на его прикосновения. Они вздрагивали. Они расширялись. Они сжимались. Они дышали. И в этом дыхании, в этом ритме, в этом пульсе было что-то, что заставляло его сердце биться быстрее, что заставляло его кровь течь горячее, что заставляло его душу пробуждаться. Алиса шла слева, и её длинное платье, расшитое семью цветами, волочилось по дышащему камню, и каждый цвет — красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый — вспыхивал, когда камень вдыхал, и гас, когда камень выдыхал, и в этом мерцании, в этом ритме, в этом дыхании было что-то гипнотическое, что-то завораживающее, что-то, что не отпускало. Обсидиан шёл позади, и его плащ, сотканный из теней, стелился по дышащему камню, и камень под ним не вздрагивал, не дышал, не жил — он замирал, как замирает сердце перед смертью, как замирает время перед вечностью, как замирает жизнь перед концом.

Пещера, в которую они вошли, была не похожа ни на что, что они видели раньше. Она не была лабиринтом из кристаллов, не была рекой из слёз, не была озером из жемчужин, — она была лёгкими. Огромными. Каменными. Живыми. Стены её расширялись и сжимались в медленном, глубоком, древнем ритме, и этот ритм был настолько мощным, настолько всеобъемлющим, настолько вечным, что казалось, будто они находятся внутри самого дыхания мира, внутри самой жизни, внутри самого сердца. Воздух в пещере был тёплым, влажным, тяжёлым, и он входил в лёгкие, и он выходил из лёгких, и он нёс с собой запахи — незнакомые, древние, забытые, — запах минералов, запах времени, запах воли. И в этом воздухе, в этом дыхании, в этом ритме были звуки. Не голоса. Не шёпот. Не крики. А эхо. Тысячи, миллионы, миллиарды эхо, которые отражались от стен, от потолка, от пола, и эти эхо складывались в вопросы. «Зачем ты идёшь?» — спрашивало одно. «Чего ты хочешь?» — спрашивало другое. «Кому ты служишь?» — спрашивало третье. «Кто ты есть?» — спрашивало четвёртое. И эти вопросы, эти эхо, эти голоса — они не были враждебными. Не были угрожающими. Не были страшными. Они были — проверяющими. Они хотели знать. Они хотели понять. Они хотели увидеть.

Артём остановился. Он закрыл глаза. И ответил. Не голосом. Не словами. Сердцем. «Я иду, — сказал он беззвучно, — потому что не могу иначе. Потому что я — целитель. Потому что я — отец. Потому что я — человек. Я хочу, чтобы мир зазвучал. Чтобы люди перестали молчать. Чтобы любовь победила. Я служу не себе. Не силе. Не славе. Я служу жизни. Я служу любви. Я служу всем, кто страдает. Всем, кто боится. Всем, кто умирает. И я — Артём. Сын Марии. Отец Миры. Муж Алисы. Человек. Просто человек. Слабый. Смертный. Живой». И эхо — эти тысячи, миллионы, миллиарды эхо — замолчали. На мгновение. На один удар сердца. На один вдох. А потом — потом они заговорили снова. Но не вопросами. А ответами. «Ты — воля, — сказала одно. — Ты — сила, — сказала другое. — Ты — любовь, — сказала третье. — Ты — жизнь, — сказала четвёртое. — Ты — тот, кто должен пройти. Тот, кто должен выбрать. Тот, кто должен отдать. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Завтра. Когда войдёшь в третью пещеру. Когда встретишь Сфинкса. Когда услышишь его загадку. Ту загадку, которую нельзя разгадать. Которую можно только прожить. Ту загадку, которая убьёт одного из вас. Ту загадку, которая спасёт всех».

Алиса остановилась. Она закрыла глаза. И ответила. Не голосом. Не словами. Сердцем. «Я иду, — сказала она беззвучно, — потому что не могу иначе. Потому что я — жена. Потому что я — мать. Потому что я — человек. Я хочу, чтобы мир зазвучал. Чтобы люди перестали молчать. Чтобы любовь победила. Я служу не себе. Не силе. Не славе. Я служу ему. Артёму. Моему мужу. Моей жизни. Моей любви. Я служу нашей дочери. Мире. Нашей крови. Нашей надежде. Я служу всем, кто страдает. Всем, кто боится. Всем, кто умирает. И я — Алиса. Дочь своей матери. Жена Артёма. Мать Миры. Человек. Просто человек. Слабая. Смертная. Живая». И эхо — эти тысячи, миллионы, миллиарды эхо — замолчали. На мгновение. На один удар сердца. На один вдох. А потом — потом они заговорили снова. Но не вопросами. А

ответами. «Ты — воля, — сказала одно. — Ты — сила, — сказала другое. — Ты — любовь, — сказала третье. — Ты — жизнь, — сказала четвёртое. — Но ты — не та, кто должна пройти. Ты — не та, кто должна выбрать. Ты — не та, кто должна отдать. Ты — та, кто должна ждать. Та, кто должна верить. Та, кто должна любить. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Завтра. Когда войдёшь в третью пещеру. Когда встретишь Сфинкса. Когда услышишь его загадку. Ту загадку, которую нельзя разгадать. Которую можно только прожить. Ту загадку, которая убьёт одного из вас. Ту загадку, которая спасёт всех».

Мира стояла в центре пещеры, и дышащий камень под её ногами пульсировал в такт с её сердцем, и она чувствовала, как её собственная воля — та самая воля, которая когда-то заставила её встать на этот путь, которая заставила её взять камень с именем бабушки, которая заставила её прошептать «Я согласна. Я отдам. Я спасу», — начинает пробуждаться. Не в солнечном сплетении. Не в Манипуре. А глубже. В костях. В крови. В душе. И тогда она услышала голос. Не эхо. Не Лорелею. Не Ноль. Другой. Мужской. Низкий. Древний. Голос, который она никогда не слышала, но который знала. Голос, который сказал: «Добро пожаловать в третью пещеру. В горло Воли. В начало. В смерть. В жизнь. В правду. Ту правду, которую нельзя объяснить. Которую можно только прожить. Ту правду, которая убьёт одного из вас. Ту правду, которая спасёт всех. И эта правда — воля. Она не украдена. Она не спрятана. Она не убита. Она — заперта. Заперта теми, кто боялся действовать. Заперта теми, кто прятал желания. Заперта теми, кто превращал силу в страх. И теперь — теперь вы должны её освободить. Не силой. Не хитростью. Не магией. А выбором. Только выбором. Потому что воля — это выбор. А выбор — это не то, что можно украсть. Выбор — это то, что можно только сделать. И тот, кто выбирает, — тот освобождается. И тот, кто освобождается, — тот живёт. И в этом — тайна. Тайна, которую вы узнаете. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — идите. Сфинкс ждёт. Он задаст вам загадку. Ту загадку, которую нельзя разгадать. Которую можно только прожить. Ту загадку, которая убьёт одного из вас. Ту загадку, которая спасёт всех».

И тогда — тогда они увидели его. Сфинкс. Он сидел на возвышении из чёрного обсидиана, и его тело было не телом, а камнем, не камнем, а плотью, не плотью, а духом, и он был огромен — больше горы, больше неба, больше времени, — и его глаза, два глубоких, тёмных, бездонных колодца, смотрели на них. Долго. Молча. Беззвучно. И в этом взгляде — в этих двух бездонных, тёмных, древних колодцах — было всё: знание, понимание, видение, жизнь, смерть, всё. И тогда Сфинкс заговорил. Его голос был не голосом. Это был гул. Низкий. Древний. Вечный. Как гул земли. Как гул времени. Как гул судьбы. И он сказал: «Вы пришли. Я ждал. Тысячу лет. С тех пор, как она ушла. С тех пор, как она украла Звук. С тех пор, как мир онемел. Я ждал вас. Артём. Алиса. Мира. И вы — вы должны ответить на мою загадку. Но не сейчас. Не здесь. Загадка — это не вопрос. Загадка — это жизнь. И вы проживёте её. Завтра. Когда войдёте в четвёртую пещеру. Когда встретите Виридиан. Когда услышите её историю. Ту историю, которую нельзя рассказать. Которую можно только прожить. Ту историю, которая убьёт одного из вас. Ту историю, которая спасёт всех. А пока — идите. Отдыхайте. Набирайтесь сил. Потому что завтра — завтра будет день, который изменит всё. День, который изменит вас. День, который изменит мир. И этот день — завтра. Всегда завтра. Потому что завтра — это единственное, что у нас есть. Единственное, что мы можем. Единственное, что мы должны. И в этом — тайна. Тайна, которую вы узнаете. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — спите. Отдыхайте. Набирайтесь сил. Потому что завтра — завтра вы войдёте в четвёртую пещеру. И то, что вы там найдёте, — изменит вас навсегда».

Но когда Сфинкс произнёс эти слова, когда его голос — низкий, древний, вечный — растворился в тишине, когда его глаза — эти два бездонных, тёмных, древних колодца — закрылись, — Мира, стоявшая в центре пещеры, вдруг почувствовала, как что-то внутри неё — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что она сама не могла назвать, — начало меняться. Чёрные линии на её ногах — те самые линии, которые поднимались от щиколоток к сердцу, которые

пожирали её имя, которые превращали её в ничто, — начали светиться. Не чёрным. Не красным. Не оранжевым. Не зелёным. А жёлтым. Золотым. Живым. И этот свет — этот жёлтый, яркий, живой свет — начал распространяться по её телу, по её венам, по её крови, и там, где он проходил, чёрные линии исчезали. Растворялись. Умирали. И Мира почувствовала, как её воля — та самая воля, которая когда-то заставила её встать на этот путь, которая заставила её взять камень с именем бабушки, которая заставила её прошептать «Я согласна. Я отдам. Я спасу», — начала пробуждаться. Не в солнечном сплетении. Не в Манипуре. А глубже. В костях. В крови. В душе. И тогда она поняла: это не просто свет. Это не просто жёлтый. Это — Манипура. Жёлтая сфера. Центр воли. Центр силы. Центр всего, что делает человека человеком. И эта сфера — её сфера, её центр, её всё — пробудилась. Не потому, что она этого хотела. Не потому, что она этого ждала. Не потому, что она этого добивалась. А потому, что она выбрала. Выбрала идти. Выбрала бороться. Выбрала отдать. И в этом выборе — в этом решении, в этом действии — была сила. Самая главная сила. Самая настоящая. Самая вечная. И тогда Мира, стоя в пещере, в свете, в жизни, — улыбнулась. Не страшно. Не устало. Не нежно. А светло. Радостно. Свободно. Потому что она знала. Она знала, что делать. Она знала, куда идти. Она знала, кем быть. И это знание — это понимание, это видение — было не проклятием, а даром. Даром, который она примет. Даром, который она отдаст. Даром, который спасёт всех.

Танец с тенью

Сфинкс поднялся с возвышения из чёрного обсидиана, и его тело — не тело, а камень, не камень, а плоть, не плоть, а дух — начало меняться, течь, переливаться, как ртуть, как вода, как время, и в этом течении, в этом переливании, в этой метаморфозе не было ни боли, ни страха, ни смерти — только древняя, вечная, бесконечная игра, в которую играют боги, когда им скучно, когда им одиноко, когда им нечего делать со своей вечностью. Он поднял руку — длинную, с семью пальцами, каждый из которых заканчивался не ногтем, а крошечным, белым, светящимся кристаллом, — и в этом жесте, в этом движении, в этом прикосновении к воздуху было что-то, от чего стены пещеры задрожали, пол закачался, а тени — их собственные тени, которые они никогда не замечали, которые всегда были с ними, которые всегда молчали, — начали отделяться от их ног, от их тел, от их душ, и эти тени, эти сгустки, эти призраки начали расти, вытягиваться, формироваться, и в этом формировании, в этом росте, в этом отделении было что-то настолько неестественное, настолько жуткое, настолько неправильное, что Кира закричала — беззвучно, но отчётливо, — а Илья закрыл глаза, а Глеб схватился за меч, которого больше не было.

«Танец, — сказал Сфинкс, и его голос — низкий, древний, вечный — эхом разнёсся по пещере, отражаясь от стен, от потолка, от пола, — это не движение. Это не ритм. Это не музыка. Танец — это встреча. Встреча с собой. С тем, кем ты был. С тем, кем ты стал. С тем, кем ты боишься быть. И теперь — теперь вы будете танцевать. Не друг с другом. Каждый — со своей тенью. И в этом танце, в этом движении, в этой встрече вы увидите то, что скрывали от себя всю жизнь. То, что прятали. То, что убивали. И тогда — тогда вы поймёте. Поймёте, что выбор — это не то, что делают. Выбор — это то, что проживают. И тот, кто проживает, — тот умирает. И тот, кто умирает, — тот рождается. И в этом — тайна. Тайна, которую вы узнаете. Сейчас. Здесь. В этом танце. В этой встрече. В этой смерти».

Артём сделал шаг вперёд, и его тень — тёмная, длинная, искажённая, — отделилась от его ног, от его тела, от его души, и встала перед ним. Она была не просто тенью. Она была — им. Молодым. Двадцатилетним. С горящими глазами. С книгой в руках. С мечтой о том, чтобы изменить мир. И в этой тени, в этом отражении, в этом призраке было всё, чего он боялся. Всё, чего он стыдился. Всё, что он прятал. Тень улыбнулась — не тепло, не нежно, не по-дружески, — а холодно, презрительно, жестоко. И заговорила. Её голос был не голосом. Это был шёпот. Тихий. Мужской. Молодой. Как шёпот ветра. Как шёпот времени. Как шёпот совести. И она сказала: «Ты никогда не будешь достаточно хорош. Ты бросил университет. Ты

не спас бабушку. Ты не удержал отца. Ты не был идеальным мужем. Ты не был идеальным отцом. Ты не был идеальным целителем. Ты — ничто. Ты — пыль. Ты — ошибка. И всё, что ты делал, — всё это было зря. Зря. Зря. Зря».

Артём слушал. И в его глазах — серых, глубоких, усталых, — застыла та особая, тяжёлая, древняя боль, которая приходит к тем, кто слишком много видел, слишком много знал, слишком много потерял. Он хотел ответить. Хотел закричать. Хотел ударить. Но он не мог. Потому что тень — это не враг. Тень — это он сам. Его страхи. Его сомнения. Его вина. И тогда — тогда он сделал то, чего не делал никогда. Он сдался. Опустился на колени. Опустил голову. И прошептал — тихо, хрипло, с той самой усталостью, которая была старше мира, старше времени, старше всего: «Да. Я знаю. Я никогда не буду достаточно хорош. Я бросил университет. Я не спас бабушку. Я не удержал отца. Я не был идеальным мужем. Я не был идеальным отцом. Я не был идеальным целителем. Я — ничто. Я — пыль. Я — ошибка. И всё, что я делал, — всё это было зря. Зря. Зря. Зря».

И тень — его тень, его страх, его вина — наступила. Она нависла над ним, как скала, как гора, как смерть, и её руки — тёмные, длинные, холодные — потянулись к его горлу, к его сердцу, к его душе, и она начала сжимать, начала давить, начала убивать, и Артём чувствовал, как жизнь уходит из него, как свет гаснет, как тьма побеждает. Но тогда — тогда Алиса, стоявшая в стороне, — она сделала то, чего не делала никогда. Она не закричала. Не заплакала. Не бросилась спасать. Она просто протянула руку. Медленно. Тихо. Нежно. И сказала — беззвучно, одними губами, но он понял: «Танцуй со мной. Не с ней. Со мной».

Артём поднял голову. Посмотрел на жену. На любимую. На ту, ради которой он жил, ради которой он умирал, ради которой он готов был отдать всё. И в её глазах — серых с янтарными крапинками, — он увидел не жалость. Не сострадание. Не прощение. А любовь. Чистую. Светлую. Вечную. И тогда он встал. Медленно. Тяжело. С трудом. Как поднимается старик. Как поднимается гора. Как поднимается жизнь. Он взял её за руку, и её пальцы, тонкие, тёплые, живые, сжали его пальцы так крепко, что он почувствовал, как его кости затрещали. И они начали танцевать. Вдвоём. Против тени. Против страха. Против вины. И тень — его тень, его страх, его вина — не отступила. Она последовала за ними. Она окружила их. Она стала третьей в этом танце. И в этом танце, в этом движении, в этой встрече было что-то, чего не было раньше. Что-то, что не поддавалось описанию. Что-то, что не имело названия. Что-то, что было — жизнью.

Алиса танцевала, и её длинное платье, расшитое семью цветами, развевалось вокруг неё, как крылья, как свет, как любовь, и каждый цвет — красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый — вспыхивал, когда она двигалась, и гас, когда она останавливалась, и в этом мерцании, в этом ритме, в этом дыхании было что-то гипнотическое, что-то завораживающее, что-то, что не отпускало. Её тень — тёмная, длинная, искажённая — отделилась от её ног, от её тела, от её души, и встала перед ней. Она была не просто тенью. Она была — ею. Молодой. Двадцатилетней. С кистью в руках. С мечтой о том, чтобы нарисовать мир. И в этой тени, в этом отражении, в этом призраке было всё, чего она боялась. Всё, чего она стыдилась. Всё, что она прятала. Тень улыбнулась — не тепло, не нежно, не по-дружески, — а холодно, презрительно, жестоко. И заговорила. Её голос был не голосом. Это был шёпот. Тихий. Женский. Молодой. Как шёпот ветра. Как шёпот времени. Как шёпот вины. И она сказала: «Ты никогда не будешь достаточно хороша. Ты бросила родителей. Ты не спасла мать. Ты не удержала отца. Ты не была идеальной женой. Ты не была идеальной матерью. Ты не была идеальной художницей. Ты — ничто. Ты — пыль. Ты — ошибка. И всё, что ты делала, — всё это было зря. Зря. Зря. Зря».

Алиса слушала. И в её глазах — серых с янтарными крапинками, — застыла та особая, тяжёлая, древняя боль, которая приходит к тем, кто слишком много видела, слишком много знала, слишком много потеряла. Она хотела ответить. Хотела закричать. Хотела ударить. Но

она не могла. Потому что тень — это не враг. Тень — это она сама. Её страхи. Её сомнения. Её вина. И тогда — тогда она сделала то, чего не делала никогда. Она сдалась. Опустилась на колени. Опустила голову. И прошептала — тихо, хрипло, с той самой усталостью, которая была старше мира, старше времени, старше всего: «Да. Я знаю. Я никогда не буду достаточно хороша. Я бросила родителей. Я не спасла мать. Я не удержала отца. Я не была идеальной женой. Я не была идеальной матерью. Я не была идеальной художницей. Я — ничто. Я — пыль. Я — ошибка. И всё, что я делала, — всё это было зря. Зря. Зря. Зря».

И тень — её тень, её страх, её вина — наступила. Она нависла над ней, как скала, как гора, как смерть, и её руки — тёмные, длинные, холодные — потянулись к её горлу, к её сердцу, к её душе, и она начала сжимать, начала давить, начала убивать, и Алиса чувствовала, как жизнь уходит из неё, как свет гаснет, как тьма побеждает. Но тогда — тогда Артём, стоявший рядом, — он сделал то, чего не делал никогда. Он не закричал. Не заплакал. Не бросился спасать. Он просто протянул руку. Медленно. Тихо. Нежно. И сказал — беззвучно, одними губами, но она поняла: «Танцуй со мной. Не с ней. Со мной».

Алиса подняла голову. Посмотрела на мужа. На любимого. На того, ради которого она жила, ради которого она умирала, ради которого она готова была отдать всё. И в его глазах — серых, глубоких, усталых, — она увидела не жалость. Не сострадание. Не прощение. А любовь. Чистую. Светлую. Вечную. И тогда она встала. Медленно. Тяжело. С трудом. Как поднимается старуха. Как поднимается гора. Как поднимается жизнь. Она взяла его за руку, и её пальцы, тонкие, тёплые, живые, сжали его пальцы так крепко, что он почувствовал, как его кости затрепщали. И они начали танцевать. Вдвоём. Против тени. Против страха. Против вины. И тень — её тень, её страх, её вина — не отступила. Она последовала за ними. Она окружила их. Она стала третьей в этом танце. И в этом танце, в этом движении, в этой встрече было что-то, чего не было раньше. Что-то, что не поддавалось описанию. Что-то, что не имело названия. Что-то, что было — жизнью.

И тогда — тогда тени слились. Его тень. Её тень. Две тени. Одна тьма. Одна боль. Одна вина. Они слились в одну. В женщину. С закрытыми глазами. С белыми, как кость, волосами. С чёрным, как бездна, платьем. С чёрным яблоком в руке. Это была — Ноль. Та, что украла голос. Та, что заточила его в чёрное яблоко. Та, что стояла на границе ущелья. Та, что улыбалась. Та, что ждала. И теперь — теперь она стояла перед ними. В пещере. В свете. В жизни. И она открыла глаза. Медленно. Тяжело. С трудом. Как открываются двери в заброшенном храме. Как разжимаются челюсти капкана. Как всходит солнце после тысячелетней ночи. Её глаза были не глазами — это были бездны. Чёрные. Глубокие. Бездонные. И в этих безднах, в этих глазах, в этой глубине — были слёзы. Не одна. Не две. Не десять. Тысячи. Миллионы. Миллиарды слёз. И эти слёзы — эти горячие, живые, настоящие слёзы — текли по её щекам, падая на пол, на дышащий камень, на живую плоть, и там, где падала её слеза, камень трескался. Плоть размягчалась. Смерть отступала. Жизнь возвращалась.

И тогда Ноль — та, что украла голос, та, что заточила его в чёрное яблоко, та, что стояла перед ними, — заговорила. Её голос был не голосом. Это был смех. Тихий. Женский. С хрипотцой. Похожий на звук разрываемой ткани. И она сказала: «Вы танцевали. Вы встретились. Вы увидели. И теперь — теперь вы знаете. Знаете, что выбор — это не то, что делают. Выбор — это то, что проживают. И тот, кто проживает, — тот умирает. И тот, кто умирает, — тот рождается. И в этом — тайна. Тайна, которую вы узнаете. Завтра. Когда войдёте в седьмую пещеру. Когда встретите меня. Когда услышите мою историю. Ту историю, которую нельзя рассказать. Которую можно только прожить. Ту историю, которая убьёт одного из вас. Ту историю, которая спасёт всех. И эта история — я. Я — Силенциум. Я — та, кто украла Звук. И я жду вас. В седьмой пещере. Там, где начинается тишина. Там, где заканчивается всё. Там, где начинается всё. И в этом — тайна. Тайна, которую вы узнаете. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — идите. Отдыхайте. Набирайтесь сил. Потому что завтра — завтра будет день, который

изменит всё. День, который изменит вас. День, который изменит мир. И этот день — завтра. Всегда завтра. Потому что завтра — это единственное, что у нас есть. Единственное, что мы можем. Единственное, что мы должны. И в этом — тайна. Тайна, которую вы узнаете. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — спите. Отдыхайте. Набирайтесь сил. Потому что завтра — завтра вы войдёте в седьмую пещеру. И то, что вы там найдёте, — изменит вас навсегда».

Сфинкс солгал. Он сказал, что выбор убьёт одного из них. Но на самом деле выбор уже сделан. Силенциум — не враг. Силенциум — не злодей. Силенциум — не чудовище. Силенциум — это они сами. Их будущее «я». То, которое отчаялось. То, которое замолчало. То, которое решило, что лучше тишина, чем ложь. Лучше смерть, чем предательство. Лучше ничто, чем всё, что стало ничем. И чтобы вернуть Звук, Артём и Алиса должны умереть. Не физически. Не телом. Душой. Голосом. Именем. Оба. Потому что Звук возвращается только через смерть того, кто его украл. А Силенциум — это они. Их будущее «я». Их отчаяние. Их тишина. Их смерть. И теперь — теперь они знают. Знают, что их ждёт. Знают, что они должны сделать. Знают, что они должны отдать. И это знание — это понимание, это видение — страшнее любого чудовища, любой тьмы, любой смерти. Потому что смерть — это конец. А это — это начало. Начало конца. Начало жертвы. Начало всего.

Глава 3. Пещера Воли: Лабиринт из титана

Врата из костей дракона

Они шли сквозь дышащую пещеру, и с каждым шагом камень под их босыми ногами становился всё холоднее, всё тверже, всё мертвее, словно жизнь, которая ещё недавно пульсировала в этих стенах, в этом полу, в этом потолке, медленно, мучительно, с болью уходила из этого места, оставляя после себя только пустоту, только тишину, только смерть, и Мира чувствовала, как это умирание отдаётся в её собственном теле, в её костях, в её крови, и как её Манипура — жёлтая сфера, которая только что пробудилась в предыдущей пещере, которая горела в её солнечном сплетении, как крошечное солнце, как зародыш жизни, как обещание силы, — начинает тускнеть, мерцать, гаснуть, словно кто-то невидимый, кто-то древний, кто-то безжалостный медленно, но верно задувает этот огонь. Артём шёл рядом, и его ладони, всё ещё мерцающие тусклым жёлтым светом, касались стен, и стены — эти уже не дышащие, не живые, не пульсирующие стены — не отзывались на его прикосновения, не вздрагивали, не расширялись, не сжимались, они просто были, просто существовали, просто молчали, как молчат камни, как молчат мёртвые, как молчат те, кто отказался от жизни.

Алиса шла слева, и её длинное платье, расшитое семью цветами, больше не мерцало, не вспыхивало, не гасло в такт с дыханием пещеры, потому что пещера больше не дышала, и цвета на её платье потускнели, поблёкли, выцвели, словно время, которое здесь текло иначе, чем в мире живых, начало пожирать даже память о свете, даже память о жизни, даже память о любви. Обсидиан шёл позади, и его плащ, сотканный из теней, стелился по мёртвому камню, и камень под ним не замирал, не вздрагивал, не умирал — он просто был, просто существовал, просто молчал, и в этом молчании, в этом существовании, в этом ничто было что-то более страшное, чем любая смерть, потому что смерть — это конец, а это было отсутствие конца, отсутствие начала, отсутствие всего. Илья, скептик с матовыми очками, которые он потерял в темноте и которые теперь висели у него на шее на тонкой верёвочке, бесполезные, как глаза мертвеца, — он шёл, спотыкаясь о камни, которых секунду назад не было, и падал на колени, и поднимался, и шёл дальше, потому что не мог остановиться, потому что что-то внутри него — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что он сам не мог назвать, — гнало его вперёд, к пещере, к горлу, к правде. Кира, эмпат с круглым, добрым лицом, которое сейчас, в сером свете умирающей пещеры, напоминало не луну, а пепел, — она шла, обхватив себя руками, и её губы шевелились, но не издавали ни звука, потому что она чувствовала чужую боль — не одного человека, не сотни, а миллионы, — и эта боль была такой плотной, такой тяжёлой,

что она не могла ни говорить, ни плакать, ни дышать. Глеб, воин, который отпустил свой меч, который бросил его в предыдущей пещере, который остался безоружным, — он шёл последним, и его руки, привыкшие сжимать рукоять, привыкшие убивать, привыкшие защищать, — теперь висели вдоль тела, пустые, бесполезные, мёртвые, и он смотрел на них, на эти руки, на эти пальцы, на эти ладони, и в его глазах — голубых, ясных, когда-то полных жизни, — застыла та особая, тяжёлая, мужская пустота, которая приходит к воинам, когда они понимают, что меч — это не спасение, что сила — это не победа, что смерть — это не враг.

Пещера закончилась внезапно. Стены расступились, потолок поднялся, пол выровнялся, и они вышли в огромный, круглый, идеальный зал, стены которого были не из камня, не из плоти, не из кристаллов, — они были из титана. Тёмного. Холодного. Мёртвого. Титана, который не отражал свет, а поглощал его, который не пропускал звук, а убивал его, который не пропускал жизнь, а отрицал её. Пол в этом зале был из стекла — чёрного, гладкого, зеркального, — и в этом стекле отражались не их лица, не их тела, не их души, а что-то другое: звёзды. Не те, что на небе. Не те, что в космосе. А другие. Древние. Забытые. Погасшие. Звёзды, которые умерли миллиарды лет назад, но свет которых всё ещё летел сквозь пустоту, сквозь время, сквозь смерть, и эти звёзды, эти огоньки, эти жизни отражались в чёрном стекле под их ногами, и Мира, глядя на них, на эти мёртвые звёзды, на эти погасшие жизни, вдруг почувствовала, как что-то внутри неё — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что она сама не могла назвать, — сжалось. Заныло. Заплакало. Потолок в этом зале был из льда — прозрачного, голубого, вечного, — и в этом льде, в этой толще, в этой вечности были замурованы существа. Не люди. Не звери. Не птицы. А что-то среднее. Что-то древнее. Что-то, что не должно существовать. Их тела были искажены, их лица были застыли в крике, их руки были вытянуты, словно они пытались вырваться, словно они пытались спастись, словно они пытались жить. Но они не могли. Они были замурованы. Замурованы во льду. Замурованы в вечности. Замурованы в смерти.

В центре зала были врата. Огромные. Высокие. Величественные. Они были сделаны из костей. Не человеческих. Не звериных. Не птичьих. Это были кости дракона. Древнего. Могущественного. Мёртвого. Его позвонки образовывали арку, его рёбра — створки, его череп — замок. И в центре этого черепа, в этой пустой глазнице, в этой тёмной впадине, был глаз. Живой. Настоящий. Он смотрел. Он видел. Он знал. И когда Мира подошла ближе, этот глаз — этот живой, настоящий, древний глаз — моргнул. Медленно. Тяжело. С трудом. И врата открылись. Не со скрипом. Не с грохотом. Не с шумом. А беззвучно. Бесшумно. Безмолвно. Как открывается смерть. Как открывается вечность. Как открывается ничто.

За вратами был лабиринт. Не коридоры. Не туннели. Не ходы. А лабиринт. Из титана. Из стекла. Из льда. Стены его были гладкими, холодными, мёртвыми, и в этих стенах, в этих гранях, в этих плоскостях отражались не их лица, не их тела, не их души, а что-то другое: их страхи. Их сомнения. Их вина. Артём увидел себя. Молодого. Двадцатилетнего. С книгой в руках. С мечтой о том, чтобы изменить мир. И этот Артём — этот молодой, наивный, глупый Артём — смотрел на него и улыбался. Не тепло. Не нежно. Не по-дружески. А холодно. Презрительно. Жестоко. И в этой улыбке, в этом взгляде, в этом отражении было всё, чего он боялся. Всё, чего он стыдился. Всё, что он прятал. Алиса увидела себя. Молодую. Двадцатилетнюю. С кистью в руках. С мечтой о том, чтобы нарисовать мир. И эта Алиса — эта молодая, наивная, глупая Алиса — смотрела на неё и улыбалась. Не тепло. Не нежно. Не по-дружески. А холодно. Презрительно. Жестоко. И в этой улыбке, в этом взгляде, в этом отражении было всё, чего она боялась. Всё, чего она стыдилась. Всё, что она прятала. Мира увидела себя. Молодую. Семнадцатилетнюю. С камертоном на груди. С мечтой о том, чтобы спасти мир. И эта Мира — эта молодая, наивная, глупая Мира — смотрела на неё и улыбалась. Не тепло. Не нежно. Не по-дружески. А холодно. Презрительно. Жестоко. И в этой улыбке, в этом взгляде, в этом отражении было всё, чего она боялась. Всё, чего она стыдилась. Всё, что она прятала.

И тогда — тогда лабиринт начал двигаться. Стены его — эти гладкие, холодные, мёртвые стены — начали сжиматься. Медленно. Тяжело. С трудом. Как сжимается горло перед смертью. Как сжимается сердце перед концом. Как сжимается жизнь перед ничем. Артём схватил Алису за руку, и его пальцы, привыкшие к чужим ранам и чужой боли, сжали её пальцы так крепко, что она почувствовала, как её кости затрещали. Мира схватила Обсидиана за руку, и его кожа цвета антрацита, его пальцы, его ладонь — холодные, твёрдые, мёртвые — отозвались на её прикосновение. Кира схватила Илью, Илья схватил Глеба, Глеб схватил Обсидиана, и они побежали. Не зная куда. Не зная зачем. Не зная, что их ждёт. Просто бежали. Просто спасались. Просто жили. Стены лабиринта сжимались, и коридоры сужались, и проходы исчезали, и они бежали, бежали, бежали, и их дыхание — тяжёлое, прерывистое, отчаянное — было единственным звуком в этом мёртвом мире, единственным доказательством того, что они ещё живы, ещё здесь, ещё они. Но лабиринт не хотел их убить. Он хотел их разлучить. И в тот момент, когда они свернули за очередной поворот, когда стены сомкнулись за их спинами, когда тьма поглотила свет, — стена выросла между ними. Не из титана. Не из стекла. Не из льда. А из ничего. Из пустоты. Из смерти. И Артём остался один. Алиса осталась одна. Мира осталась одна. Обсидиан остался один. Илья остался один. Кира осталась одна. Глеб остался один. И в этом одиночестве, в этой пустоте, в этой смерти каждый из них услышал голос. Свой собственный. Из глубины. Из тьмы. Из никуда. И этот голос сказал: «Теперь ты один. Теперь ты одна. Теперь ты никто. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Завтра. Когда найдёшь выход. Когда найдёшь себя. Когда найдёшь всё. И тот, кто найдёт, — тот потеряет. И тот, кто потеряет, — тот найдёт. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — иди. Ищи. Борись. Потому что завтра — завтра будет день, который изменит всё. День, который изменит тебя. День, который изменит мир. И этот день — завтра. Всегда завтра. Потому что завтра — это единственное, что у нас есть. Единственное, что мы можем. Единственное, что мы должны. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — иди. Ищи. Борись. Потому что завтра — завтра ты найдёшь выход. И то, что ты там найдёшь, — изменит тебя навсегда».

Но когда голос замолчал, когда тьма сгустилась, когда тишина стала абсолютной, — Мира, стоявшая одна в центре лабиринта, в центре тьмы, в центре смерти, — вдруг почувствовала, как что-то внутри неё — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что она сама не могла назвать, — начало меняться. Чёрные линии на её ногах — те самые линии, которые поднимались от щиколоток к сердцу, которые пожирали её имя, которые превращали её в ничто, — начали светиться. Не чёрным. Не красным. Не оранжевым. Не зелёным. Не жёлтым. А белым. Ослепительно белым. И этот свет — этот белый, яркий, живой свет — начал распространяться по её телу, по её венам, по её крови, и там, где он проходил, чёрные линии исчезали. Растворялись. Умирали. И Мира почувствовала, как её воля — та самая воля, которая когда-то заставила её встать на этот путь, которая заставила её взять камень с именем бабушки, которая заставила её прошептать «Я согласна. Я отдам. Я спасу», — начала пробуждаться. Не в солнечном сплетении. Не в Манипуре. А глубже. В костях. В крови. В душе. И тогда она поняла: это не просто свет. Это не просто белый. Это — сила. Настоящая. Древняя. Вечная. Сила, которая не в мускулах, не в оружии, не в магии. Сила, которая в выборе. В решении. В действии. И тогда Мира, стоя в лабиринте, в тьме, в смерти, — улыбнулась. Не страшно. Не устало. Не нежно. А светло. Радостно. Свободно. Потому что она знала. Она знала, что делать. Она знала, куда идти. Она знала, кем быть. И это знание — это понимание, это видение — было не проклятием, а даром. Даром, который она примет. Даром, который она отдаст. Даром, который спасёт всех. И в этом — в этом была тайна. Тайна третьей главы. Тайна, которая начала раскрываться. Тайна, которая стала началом. Началом пути. Началом жертвы. Началом всего. И эта тайна была — воля. Настоящая воля. Не та, что в приказах. Не та, что в криках. Не та, что в насилии. А та,

что в тишине. Та, что в выборе. Та, что в любви. И чтобы пробудить её, нужно было не убить. Не победить. Не заставить. А выбрать. Выбрать себя. Выбрать других. Выбрать мир.

Зеркальный зал

Артём остался один в лабиринте из титана, и тишина, которая обрушилась на него после того, как стена выросла между ним и Алисой, была не просто отсутствием звука — она была присутствием чего-то древнего, тёмного, живого, что заполняло пространство между ударами его сердца, между вдохами, между мыслями, и это что-то смотрело на него из глубины лабиринта, из глубины тьмы, из глубины его собственной души, и в этом взгляде не было ни ненависти, ни злобы, ни угрозы — только холодное, бесконечное, вечное знание. Он шёл вперёд, потому что не мог идти назад, потому что назад пути не было, потому что стены лабиринта сомкнулись за его спиной, отрезав его от всего, что было раньше, от всего, что было до, от всего, что имело значение, и его босые ноги — израненные, покрытые чёрными линиями, которые то вспыхивали, то гасли в такт с его сердцебиением, — ступали по стеклянному полу, и стекло под ними не трескалось, не ломалось, не прогибалось, а просто отражало его — тёмного, длинного, искажённого, — и в этом отражении, в этом призраке, в этой тени было что-то, от чего он хотел отвернуться, но не мог, потому что это было его собственное отражение, его собственная тень, его собственный страх. Стены лабиринта были гладкими, холодными, мёртвыми, и в этих стенах, в этих гранях, в этих плоскостях он видел не себя, а что-то другое — лица, фигуры, тени, — и эти лица, эти фигуры, эти тени двигались, шевелились, жили, и в этом движении, в этой жизни, в этом существовании было что-то настолько неправильное, что Артём чувствовал, как его кожа покрывается мурашками, как его волосы встают дыбом, как его кровь стынет в жилах.

Он шёл долго. Или недолго. Время в этом лабиринте текло иначе — не вперёд, не назад, не по кругу, — а вглубь. Каждый шаг был часом, каждый час — годом, каждый год — жизнью. И в этой жизни, в этом времени, в этой глубине Артём видел всё, что было, всё, что будет, всё, что могло бы быть. Он видел себя ребёнком, плачущим у гроба бабушки. Он видел себя подростком, бросающим философский факультет. Он видел себя юношей, встречающим Алису в парке «Сокольники». Он видел себя мужчиной, держащим на руках новорождённую Миру. Он видел себя стариком, сидящим на крыльце и смотрящим на закат. И все эти версии его — эти отражения, эти призраки, эти тени — смотрели на него, и в их взглядах было всё: любовь, ненависть, прощение, проклятие, жизнь, смерть, всё.

Лабиринт закончился внезапно. Стены расступились, потолок поднялся, пол выровнялся, и Артём вышел в зал. Огромный. Круглый. Идеальный. Стены этого зала были не из титана. Не из стекла. Не из льда. Они были из зеркал. Тысячи, миллионы, миллиарды зеркал — разных размеров, разных форм, разных оттенков, — и все они отражали его. Не его нынешнего. Не того, что стоял сейчас в центре зала, израненный, уставший, живой. Другого. В каждом зеркале был он. Но не один. В одном — он ребёнок, плачущий у гроба бабушки. Маленький. Худой. С глазами, полными слёз, которых он не позволял себе пролить. С руками, сжатыми в кулаки. С сердцем, разрывающимся от боли. В другом — он подросток, бросающий философский факультет. Молодой. Дерзкий. С книгой в руках. С мечтой о том, чтобы изменить мир. С уверенностью, что он всё знает. С глупостью, которая свойственна только юности. В третьем — он старик, сидящий на крыльце и смотрящий на закат. Старый. Седой. С морщинами. С усталостью. С мудростью. С одиночеством. В четвёртом — он мёртвый. Лежит на земле. Глаза закрыты. Руки раскинуты. А над ним — Алиса. Плачет. Беззвучно. Горько. Безутешно.

Артём подошёл к этому зеркалу. Медленно. Тяжело. С трудом. Как подходит старик к своей могиле. Как подходит смерть к жизни. Как подходит конец к началу. Он смотрел на себя мёртвого. На своё тело. На своё лицо. На свои руки. И в этом взгляде, в этом отражении, в этой смерти было всё, чего он боялся. Всё, что он прятал. Всё, что он убивал в себе. Он боялся умереть. Боялся оставить её. Боялся, что всё, что он делал, — всё это было зря. Зря. Зря. Зря. Он

хотел отвернуться. Хотел уйти. Хотел забыть. Но не мог. Потому что это было его отражение. Его страх. Его смерть. И тогда — тогда он сделал то, чего не делал никогда. Он не отвернулся. Не ушёл. Не забыл. Он протянул руку. Медленно. Тихо. Нежно. И коснулся зеркала. Стекло под его пальцами было холодным, гладким, мёртвым, но в этом холоде, в этой гладкости, в этой смерти было что-то, что отозвалось на его прикосновение. Что-то, что проснулось. Что-то, что ожило. И тогда зеркало треснуло. Медленно. Тяжело. С трудом. Как трескается лёд в начале весны. Как трескается камень под ударами молота. Как трескается смерть под напором жизни. И из этой трещины, из этого разлома, из этой раны — вышел свет. Не яркий. Не ослепительный. Не белый. А мягкий. Тёплый. Золотой. Свет, который не резал глаза, а лечил. Свет, который не обжигал, а согревал. Свет, который не убивал, а воскрешал. И в этом свете, в этом тепле, в этой жизни — был голос. Не Эхо. Не Силенциум. Не Ноль. Другой. Женский. Низкий. Древний. Голос, который он никогда не слышал, но который знал. Голос, который сказал: «Ты боишься не смерти. Ты боишься, что тебя забудут. Но тебя не забудут. Потому что ты — звук. А звук не исчезает. Он просто затихает. Чтобы потом снова зазвучать».

Артём замер. Свет — этот мягкий, тёплый, золотой свет — заполнил зал, заполнил его тело, заполнил его душу, и в этом свете, в этом тепле, в этой жизни он почувствовал, как что-то внутри него — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что он сам не мог назвать, — начало меняться. Чёрные линии на его ногах — те самые линии, которые поднимались от щиколоток к сердцу, которые пожирали его имя, которые превращали его в ничто, — начали светиться. Не чёрным. Не красным. Не оранжевым. Не зелёным. Не жёлтым. А золотым. Тем самым золотым светом, который вышел из трещины в зеркале. И этот свет — этот золотой, тёплый, живой свет — начал распространяться по его телу, по его венам, по его крови, и там, где он проходил, чёрные линии исчезали. Растворялись. Умирили. И Артём почувствовал, как его воля — та самая воля, которая когда-то заставила его встать на этот путь, которая заставила его взять книгу в кожаном переплёте, которая заставила его прошептать «Я согласен. Я отдам. Я спасу», — начала пробуждаться. Не в солнечном сплетении. Не в Манипуре. А глубже. В костях. В крови. В душе. И тогда он понял: это не просто свет. Это не просто золотой. Это — сила. Настоящая. Древняя. Вечная. Сила, которая не в мускулах, не в оружии, не в магии. Сила, которая в выборе. В решении. В действии. И тогда Артём, стоя в зеркальном зале, в свете, в жизни, — улыбнулся. Не страшно. Не устало. Не нежно. А светло. Радостно. Свободно. Потому что он знал. Он знал, что делать. Он знал, куда идти. Он знал, кем быть. И это знание — это понимание, это видение — было не проклятием, а даром. Даром, который он примет. Даром, который он отдаст. Даром, который спасёт всех.

И тогда — тогда голос заговорил снова. Но не из трещины. Не из света. Не из зеркала. А из-за его спины. Артём обернулся. Медленно. Тяжело. С трудом. Как оборачивается старик. Как оборачивается гора. Как оборачивается жизнь. И увидел её. Бабушку. Марию Васильевну. Она стояла в центре зала, и её длинное платье — не чёрное, не серое, не белое, — а золотое, как свет, который вышел из трещины, — стелилось по стеклянному полу, не касаясь его, и её волосы — седые, длинные, живые, — развевались, хотя ветра не было, и её глаза — серые, глубокие, мудрые, — смотрели на него. Долго. Молча. Беззвучно. И в этом взгляде — в этих серых, глубоких, мудрых глазах — было всё: любовь, ненависть, прощение, проклятие, жизнь, смерть, всё. Артём смотрел на неё. На бабушку. На ту, что умерла. На ту, что ушла. На ту, что стала тишиной. И в его глазах — серых, глубоких, усталых, — застыли слёзы. Не гнева. Не обиды. Не ненависти. А прощения. Он сделал шаг вперёд. И обнял её. Обнял бабушку. Обнял свет. Обнял жизнь. И сказал — тихо, хрипло, с той самой усталостью, которая была старше мира, старше времени, старше всего: «Я прощаю. Давно простил. Ты — моя бабушка. Ты — часть меня. И я люблю тебя. Всегда любил. Просто не знал. Просто не помнил. Просто боялся. Но теперь — теперь я знаю. Теперь я помню. Теперь я не боюсь. Я люблю тебя. Бабушка.

Спасибо. Спасибо за то, что ты есть. Спасибо за то, что ты была. Спасибо за то, что ты — моя бабушка. Моя кровь. Моя жизнь. Моя любовь».

И бабушка — Мария Васильевна, та, что умерла, та, что ушла, та, что стала тишиной, — улыбнулась. Не страшно. Не устало. Не нежно. А светло. Радостно. Свободно. И сказала: «Ты сделал это, внучок. Ты прошёл. Ты выбрал. Ты принял. И теперь — теперь ты знаешь. Знаешь, что воля — это не сила. Воля — это выбор. Выбор быть собой. Выбор любить. Выбор жить. И тот, кто выбирает, — тот получает. И тот, кто получает, — тот отдаёт. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Завтра. Когда войдёшь в четвёртую пещеру. Когда встретишь Виридиан. Когда услышишь её историю. Ту историю, которую нельзя рассказать. Которую можно только прожить. Ту историю, которая убьёт одного из вас. Ту историю, которая спасёт всех. А пока — иди. Отдыхай. Набирайся сил. Потому что завтра — завтра будет день, который изменит всё. День, который изменит тебя. День, который изменит мир. И этот день — завтра. Всегда завтра. Потому что завтра — это единственное, что у нас есть. Единственное, что мы можем. Единственное, что мы должны. И в этом — тайна. Тайна, которую ты узнаешь. Когда-нибудь. Когда придёт время. А пока — спи. Отдыхай. Набирайся сил. Потому что завтра — завтра ты войдёшь в четвёртую пещеру. И то, что ты там найдёшь, — изменит тебя навсегда».

Но когда бабушка произнесла эти слова, когда её голос — тихий, мягкий, нежный — растворился в свете, когда её глаза — эти серые, глубокие, мудрые глаза — закрылись, — Артём, стоявший в центре зала, вдруг почувствовал, как что-то внутри него — что-то древнее, что-то забытое, что-то, что он сам не мог назвать, — начало меняться. Чёрные линии на его ногах — те самые линии, которые поднимались от щиколоток к сердцу, которые пожирали его имя, которые превращали его в ничто, — начали светиться. Не чёрным. Не красным. Не оранжевым. Не зелёным. Не жёлтым. Не белым. А фиолетовым. Тёмно-фиолетовым. Живым. И этот свет — этот фиолетовый, глубокий, живой свет — начал распространяться по его телу, по его венам, по его крови, и там, где он проходил, чёрные линии исчезали. Растворялись. Умирали. И Артём почувствовал, как его воля — та самая воля, которая когда-то заставила его встать на этот путь, которая заставила его взять книгу в кожаном переплёте, которая заставила его прошептать «Я согласен. Я отдам. Я спасу», — начала пробуждаться. Не в солнечном сплетении. Не в Манипуре. А глубже. В костях. В крови. В душе. И тогда он понял: это не просто свет. Это не просто фиолетовый. Это — Сахасрара. Фиолетовая сфера. Центр космоса. Центр всего. И эта сфера — его сфера, его центр, его всё — пробудилась. Не потому, что он этого хотел. Не потому, что он этого ждал. Не потому, что он этого добивался. А потому, что он выбрал. Выбрал простить. Выбрал принять. Выбрать жить. И в этом выборе — в этом решении, в этом действии — была сила. Самая главная сила. Самая настоящая. Самая вечная. И тогда Артём, стоя в зеркальном зале, в свете, в жизни, — улыбнулся. Не страшно. Не устало. Не нежно. А светло. Радостно. Свободно. Потому что он знал. Он знал, что делать. Он знал, куда идти. Он знал, кем быть. И это знание — это понимание, это видение — было не проклятием, а даром. Даром, который он примет. Даром, который он отдаст. Даром, который спасёт всех.

Разговор с бабушкой

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.